



Летние истории

РАССКАЗЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Яркие страницы. Коллекционные издания

Алексей Толстой

**Летние истории. Рассказы
русских писателей**

«ЭКСМО»

УДК 821. 161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)я43

Толстой А. К.

Летние истории. Рассказы русских писателей / А. К. Толстой —
«Эксмо», — (Яркие страницы. Коллекционные издания)

ISBN 978-5-04-248935-8

Откройте эту книгу — и лето ворвется в вашу жизнь, в какое бы время года вы ни читали! Здесь собраны самые солнечные и душевные истории русских классиков: о семейных поездках на дачу и деревенском быте, о свиданиях и курортных романах. Эти тексты возвращают к простым радостям лета — цветущему саду, речке, чаю с земляничным вареньем — и словно наполнены запахом скошенной травы и спелых ягод, гудением пчёл и жаром полуденного зноя. В сборник вошли рассказы Аксакова, Тургенева, Лухмановой, Гарина-Михайловского, Чехова, Вересаева, Бунина, Куприна, Тэффи, Шмелёва, Паустовского и других авторов.

УДК 821. 161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)я43

ISBN 978-5-04-248935-8

© Толстой А. К.
© Эксмо

Содержание

Сергей Аксаков	5
Летняя поездка в Чурасово	5
Иван Тургенев	19
Бежин луг	19
Надежда Лухманова	31
Феникс	31
Звезды	36
Иероним Ясинский	44
Васса Макаровна	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Летние истории

Сергей Аксаков
(1791–1859)

Летняя поездка в Чурасово

Из книги «Детские годы Багрова-внука»

Ровно через три года представлялся мне случай снова испытать впечатление дальней летней дороги. Три года для восьмилетнего возраста значат очень много, и было бы ожидать, что я гораздо живее, сознательнее, разумнее почувствую красоты разнообразной, живописной природы тех местностей, по которым нам должно было проезжать. Но вышло не совсем так. Три года тому назад, уезжая из Уфы в Багрово, из города в деревню, я точно вырывался из тюрьмы на волю. На каждом шагу ожидали меня новые, невиданные мною, предметы и явления в природе; самое Багрово, по рассказам отца, представлялось мне каким-то очаровательным местом, похожим на те волшебные «Счастливые острова», которые открывал Васко де Гама в своем мореплавании, о которых читал я в «Детском чтении». В настоящую же минуту я оставлял Багрово, которое уже успел страстно полюбить, оставлял все мои охоты – и ехал в неприятное мне Чурасово, где ожидали меня те же две комнаты в богатом, но чужом доме, которые прежде мы занимали, и те же вечные гости. Сад с яблоками, которых мне и есть не давали, меня не привлекал; ни уженья, ни ястребов, ни голубей, ни свободы везде ходить, везде гулять и все говорить, что захочется; вдобавок ко всему я очень знал, что мать не будет заниматься и разговаривать со мною так, как в Багрове, потому что ей будет некогда, потому что она или будет сидеть в гостиной, на балконе, или будет гулять в саду с бабушкой и гостями, или к ней станут приходить гости; слово «гости» начинало делаться мне противным... Такие мысли бродили у меня в голове, и я печально сидел рядом с сестрицей, прижавшись в угол кареты. Отец также был печален; ему так же, как и мне, жалко было покинуть Багрово, и еще более грустно ему было расстаться с матерью, моей бабушкой, которая очень хизнула¹ в последнее время, как все замечали, и которую он очень горячо любил. Но моя мать была довольна, что уехала из Багрова: она не любила его и всегда говорила, что все ее болезни происходят от низкого и сырого местоположения этой деревни. После довольно долгого молчания мать обратилась ко мне и сказала: «Что ты забился в угол, Сережа? Ничего не говоришь и в окошко не смотришь?» Я отвечал, что мне жалко Багрова, – и высказал все, что у меня было на душе. Мать старалась меня уверить, что Чурасово гораздо лучше Багрова, что там сухой и здоровый воздух, что хотя нет гнилого пруда, но зато множество чудесных родников, которые бьют из горы и бегут по камешкам; что в Чурасове такой сад, что его в три дня не исходишь, что в нем несколько тысяч яблонь, покрытых спелыми румяными яблоками, что какие там оранжереи, персики, груши, какое множество цветов, от которых прекрасно пахнет, и что, наконец, там есть еще много книг, которых я не читал. Все это мать говорила с жаром и с увлечением, и все это в то же время было совершенно справедливо, и я не мог сказать против ее похвал ни одного слова; мой ум был совершенно побежден, но сердце не соглашалось, и когда мать спросила меня: «Не правда ли, что в Чурасове будет лучше?» – я ту ж минуту отвечал, что люблю больше Багрово и что

¹ Хизнуть – чахнуть, болеть. (Примечания, помеченные цифрами, принадлежат редактору).

там веселее. Мать улыбнулась и сказала: «Ты еще мал и ничего, кроме Багрова, не видывал, а когда поживешь летом в Чурасове, так заговоришь другое». Я отвечал, что всегда буду то же говорить. «Ты еще глуп», – возразила мне мать с некоторым неудовольствием. Мне стало еще грустнее. Под влиянием каких-то мыслей и чувств продолжалась наша дорога.

Хотя я уже ездил один раз в Чурасово, но местность всего пути была мне совершенно неизвестна. Во-первых, потому, что тогда стояла зима, а зимой под сугробами снега ничего не увидишь и не заметишь, а во-вторых, потому, что летняя дорога отчасти шла по другим, более степным местам. В первый же день мы ночевали возле татарской деревни Байтуган, на берегу полноводной и очень рыбной реки Сок. Разумеется, под каретой были подвязаны четыре удочки с удилищами; мы с отцом и Евсеичем успели поудить и выудили много прекрасных окуней, что несколько успокоило наше общее грустное состояние духа.

На другой или на третий день, хорошенько не помню, приехали мы поутру в огромную слободу пахотных солдат, называемую Красным поселением, расположенную на реке Кондурче, которая была немного поменьше Сока, но так же красива, омутиста и рыбна. Съехав с дороги, мы остановились кормить у самого моста. Эта кормежка мне очень памятна, потому что ею как-то все были довольны. Мы с отцом уже покорились своей судьбе и переставали тосковать о Багрове. Мать, которой, без сомнения, наскучили наши печальные лица, очень этому обрадовалась и старалась еще более развеселить нас; сама предложила нам пойти удить на мельницу, которая находилась в нескольких десятках шагов, так что шум воды, падающей с мельничных колес, и даже гуденье жерновов раздавалось в ушах и заставляло нас говорить громче обыкновенного.

Не успели мы выпрячь лошадей, как прибежали крестьянские мальчишки из Красного поселения и принесли нам множество крупных раков, которые изобильно водились в небольших озерах по Кондурче. Для нас с отцом, кроме вкусного блюда, раки имели особенную цену: мы запаслись ими для уженья – и не понапрасну. Отец и Евсеич выудили на раковые сырые шейки в самое короткое время очень много и очень крупной рыбы, особенно окуней и небольших жерехов, которые брали беспрестанно в глубокой яме под вешняком, около свай и кауза. К прискорбию моему, я не мог участвовать в такого рода уженье: оно было мне еще не по летам и на маленькую свою удочку таскал я маленьких рыбок на мелком, безопасном месте, сидя на плотине. Когда мы весело возвращались с богатой добычей, милая сестрица выбежала ко мне навстречу с радостным криком и с полоскательной чашкой спелой ежевики, которую набрала она (то есть Параша) по кустам мелкой уремы, растущей около живописной Кондурчи.

Мать чувствовала себя здоровою и была необыкновенно весела, даже шутлива. В тени кареты накрыли нам стол, составленный из досок, утвержденных на двух отрубках дерева; принесли скамеек с мельницы, и у нас устроился такой обед, которого вкуснее и веселее, как мне казалось тогда, не может быть на свете. Когда моя мать была здорова и весела, то все около нее делались веселы; это я замечал уже и прежде. За этим обедом я совершенно забыл об оставленном Багрове и примирился с ожидающим меня Чурасовым. Я был уверен, что и мой отец чувствовал точно то же, потому что лицо его, как мне казалось, стало гораздо веселее: даже сестрица моя, которая немножко боялась матери, на этот раз так же резвилась и болтала, как иногда без нее.

На следующий день поутру мы приехали в Вишенки. Зимой я ничего не заметил, но летом увидел, что это было самое скучное степное место.

Пересыхающая во многих местах речка Берля, запруженная навозною плотиною, без чего летом не осталось бы и капли воды, загнившая, покрытая какой-то пеной, была очень некрасива, к тому же берега ее были завалены целыми горами навоза, над которыми тянулись ряды крестьянских изб; кое-где торчали высокие коромысла колодцев, но вода и в них была мутна и солодковата. Для питья воду доставали довольно далеко из маленького родничка. И по всему этому плоскому месту, не только деревьев, даже зеленого кустика не было, на котором мог бы

отдохнуть глаз, только в нижнем огороде стояли две огромные ветлы. Впрочем, селение считалось очень богатым, чему лучшим доказательством служили гумна, полные копен старого хлеба, многочисленные стада коров и овец и такие же табуны отличных лошадей. Все это мы увидели своими глазами, когда на солнечном закате были пригнаны господские и крестьянские стада. Страшная пыль долго стояла над деревней, и мычанье коров и блянье овец долго раздавалось в вечернем воздухе. Отец мой сказал, что еще большая половина разного скота ночует в поле. Он с восхищением говорил о хлебородной вишенской земле, состоящей в иных местах из трехаршинного чернозема. Вечером, говоря со старостой, отец мой сказал: «Все у вас хорошо, да воды только нет. Ошибся дядя Михайла Максимыч, что не поселил деревню версты три пониже: там в Берле воды уже много, да и мельница была бы у вас в деревне». Но староста с поклоном доложил, что ошибки тут не было. «Все вышло от нашей глупости, батюшка Алексей Степаныч.

Хоша я еще был махонькой, когда нас со старины сюда переселили, а помню, что не токма у нас на деревне, да и за пять верст выше, в Берлинских вершинах, воды было много и по всей речке рос лес; а старики наши, да и мы за ними, лес-то весь повырубили, роднички затоптала скотинка, вода-то и пересохла. Вот и Медвежий враг – ведь какой был лес! и тот вывели; остался один молодежник – и оглобли не вырубись. Нонче зато и маемся, топим соломой, а на лучину и на крестьянские поделки покупаем лес в Грязнухе».

Отец мой очень сожалел об этом и тут же приказал старосте, чтобы Медвежий враг был строго заповедан, о чем хотел немедленно доложить Прасковье Ивановне и обещал прислать особое от нее приказание.

Флигель, в котором мы остановились, был точно так же прибран к приезду управляющего, как и прошлого года. Точно так же рыцарь грозно смотрел из-под забрала своего шлема с картины, висевшей в той комнате, где мы спали. На другой картине так же лежали синие виноградные кисти в корзине, разрезанный красный арбуз с черными семечками на блюде и наливные яблоки на тарелке. Но я заметил перемену в себе: картины, которые мне так понравились в первый наш приезд, показались мне не так хороши.

После обеда отец мой ездил осматривать хлебные поля; здесь уже кончилось ржаное жнитво, потому что хлеб в Вишенках поспевает двумя неделями ранее; зато здесь только что начали сеять господскую рожь, а в Багрове отсевались. Здесь уже с неделю, как принялись жать яровые: пшеницы и полбы. Поля были очень удалены, на каком-то наемном участке в «Орловской степи»^{2*}. Мать не пустила меня, да и отец не хотел взять, опасаясь, что я слишком утомлюсь.

На другой день, выехав не так рано, мы кормили на перевозе через чудесную, хотя не слишком широкую реку Черемшан, в богатом селе Никольском, принадлежавшем помещику Дурасову. Не переезжая на другую сторону реки, едва мы успели расположиться на песчаном берегу, отвязали удочки, достали червей и, по рассказам мальчишек, удививших около парома, хотели было идти на какое-то диковинное место, «где рыба так и хватает, даже берут стерляди», как явился парадноодетый лакей от Дурасова с покорнейшею просьбою откушать у него и с извещением, что сейчас приедет за нами коляска. Дурасов был известный богач, славился хлебосольством и жил великолепно; прошлого года он познакомился с нами в Чурасове у Прасковьи Ивановны. Отец и мать сочли неучтивостью отказаться и обещали приехать. Боже мой! Какой это был для меня удар, и вовсе неожиданный! Мелькнула было надежда, что нас с сестрицей не возьмут; но мать сказала, что боится близости глубокой реки, боится, чтоб я не подбежал к берегу и не упал в воду, а как сестрица моя к реке не пойдет, то приказала ей остаться, а мне переодеться в лучшее платье и отправляться в гости. Скоро приехала щегольская коляска,

² * Название «Орловской степи» носила соседственная с Вишенками земля, отдаваемая внаймы от казны, но прежде принадлежавшая графу Орлову. (Примечания, отмеченные знаком *, принадлежат автору).

заложенная четверкой, с форейтором и с двумя лакеями. Мы с отцом довольно скоро переоделись; мать, устроив себе уборную в лубочном балагане, где жили перевозчики, одевалась долго и вышла такую нарядную, какую я очень давно ее не видел. Как она была хороша, как все ей шло к лицу! Перебирая в памяти всех мне известных молодых женщин, я опять решил, что нет на свете никого лучше моей матери!

Посередине большой площади, с двух боков застроенной порядками крестьянских изб, стояла каменная церковь, по-тогдашнему новейшей архитектуры. Каменный двухэтажный дом, соединяющийся сквозными колоннадами с флигелями, составлял одну сторону четырехугольного двора с круглыми башнями по углам. Все надворные строения служили как бы стенами этому двору; бесконечный старый сад, с прудами и речкою, примыкал к нему с одного бока; главный фасад дома выходил на реку Черемшан. Я ничего подобного не видывал, а потому был очень поражен и сейчас приложил к действительности жившие в моей памяти описания рыцарских замков или загородных дворцов английских лордов, читанные мною в книгах. Любопытство мое возбудилось, воображение разыгралось, и я начал уже на все смотреть с ожиданием чего-нибудь необыкновенного.

Мы въехали на широкий четверугольный двор, посреди которого был устроен мраморный фонтан и солнечные часы: они были окружены широкими красивыми цветниками с песчаными дорожками. Великолепное крыльцо с фонарями, вазами и статуями и еще великолепнейшая лестница, посередине устланная коврами, обставленная оранжерейными деревьями и цветами, превзошли мои ожидания, и я из дворца английского лорда перелетел в очарованный замок Шехеразады. В зале встретил нас хозяин самого простого вида, невысокий ростом и немолодой уже человек. После обыкновенных учтивостей он подал руку моей матери и повел ее в гостиную.

Обитая бархатом или штофом мебель из красного дерева с бронзою, разные диковинные столовые часы, то в брюхе льва, то в голове человека, картины в раззолоченных рамах – все было так богато, так роскошно, что чурасовское великолепие могло назваться бедностью в сравнении с Никольским дворцом. При первых расспросах, узнав, что мать оставила мою сестрицу на месте нашей кормежки, гостеприимный хозяин стал упрашивать мою мать послать за ней коляску; мать долго не соглашалась, но принуждена была уступить убедительным и настоятельным его просьбам. Между тем Дурасов предложил нам посмотреть его сад, оранжереи и теплицы. Нетрудно было догадаться, что хозяин очень любил показывать и хвастаться своим домом, садом и всеми заведениями; он прямо говорил, что у него в Никольском все отличное, а у других дрянь. «Да у меня и свиньи такие есть, каких здесь не видывали; я их привез в горнице на колесах из Англии. У них теперь особый дом. Хотите посмотреть? Они здесь недалеко. Я всякий день раза по два у них бываю».

Отец с матерью согласились, и мы пошли. В самом деле, в глухой стороне сада стоял красивый домик. В передней комнате жил скотник и скотница, а в двух больших комнатах жили две чудовищные свиньи, каждая величиною с небольшую корову. Хозяин ласкал их и называл какими-то именами. Он особенно обращал наше внимание на их уши, говоря: «Посмотрите на уши, точно печные заслоны!»

Подивившись на свиней, которые мне не понравились, а показались страшными, пошли мы по теплицам и оранжереям: диковинных цветов, растений, винограду и плодов было великое множество. Хозяин поспешил нам сказать, что это фрукты поздней пристановки и что ранней – все давно сошли. Тут Параша привела мою милую сестрицу, которая, издали увидев нас, прибежала к нам бегом, а Параша проворно воротилась. Дурасов рвал без разбора всякие цветы и плоды и столько надавал нам, что некуда было девать их. Он очень обласкал мою сестрицу, которая была удивительно как смела и мила, называл ее красавицей и своей невестой... Это напомнило мне давнопрошедшие истории с Волковым; и, хотя я с некоторой гордостью

думал, что был тогда глупеньким дитятей, и теперь понимал, что семилетняя девочка не может быть невестой сорокалетнего мужчины; но слово «невеста» все-таки неприятно щекотало ухо.

Только что воротились мы в гостиную и сели отдохнуть, потому что много ходили, как вошел человек, богато одетый, точно наш уфимский губернатор, и доложил, что кушанье поставлено. Я сейчас спросил тихонько мать: «Кто это?» – и она успела шепнуть мне, что это главный официант. Я в первый раз услышал это слово, совершенно не понимал его, и оно нисколько не решало моего вопроса. Дурасов одну руку подал матери моей, а другою повел мою сестрицу. Пройдя несколько комнат, одна другой богаче, мы вошли в огромную, великолепную и очень высокую залу, так высокую, что вверху находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол был убран роскошно: посредине стояло прекрасное дерево с цветами и плодами; граненый хрусталь, серебро и золото ослепили мои глаза. Сестрицу мою хозяин посадил возле себя и велел принести для нее вышитую подушку. Только что подали стерляжью уху, которою заранее хвалился хозяин, говоря, что лучше черемшанских стерлядей нет во всей России, как вдруг задняя стена залы зашевелилась, поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши! Передо мной открылось возвышение, на котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные мне инструменты. Я не слыхивал ничего, кроме скрипки, на которой кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки и мордовской волынки. Я был подавлен изумлением, уничтожен. Держа ложку в руке, я превратился сам в статую и смотрел, разиня рот и выпуча глаза, на эту кучу людей, то есть на оркестр, где все проворно двигали руками взад и вперед, дули ртами, и откуда вылетали чудные, восхитительные, волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рев бури и даже громовые удары... Хозяин, заметя мое изумление, был очень доволен и громко хохотал, напоминая мне, что уха остынет. Но я и не думал об еде.

Матери моей было неприятно мое смущение, или, лучше сказать, мое изумление, и она шепнула мне, чтоб я перестал смотреть на музыкантов, а ел... Трудно было мне вполне повиноваться! Черпая ложкой уху, я беспрестанно заглядывался на оркестр музыкантов и беспрестанно обливался. Дурасов еще громче хохотал, отец улыбался, а мать краснела и сердилась. Сестрица моя сначала также была удивлена, но потом сейчас успокоилась, принялась кушать и смеялась, глядя на меня.

Немного съел я диковинной ухи и сдал почти полную тарелку. Музыка прекратилась. Все хвалили искусство музыкантов. Я принялся было усердно есть какое-то блюдо, которого я никогда прежде не ел, как вдруг на возвышенности показались две девицы в прекрасных белых платьях, с голыми руками и шеей, все в завитых локонах; держа в руках какие-то листы бумаги, они подошли к самому краю возвышения, низко присели (я отвечал им поклоном) и принялись петь. Мой поклон вызвал новый хохот у Дурасова и новую краску на лице моей матери. Но пение меня не увлекло: слова были мне непонятны, а напевы еще менее. Я вспомнил песни наших горничных девушек и решил, что Матреша поет гораздо лучше. Вследствие такого решения я стал заниматься кушаньем и до конца обеда уже не привлек на себя внимания хозяина. Прежним порядком воротились мы в гостиную. После кофе Дурасов предложил было нам катанье на лодке с роговой музыкой по Черемшану, приговаривая, что «таких рогов ни у кого нет», но отец с матерью не согласились, извиняясь тем, что им необходимо завтра рано поутру переправиться через Волгу. Дурасов не стал долее удерживать; очень ласково простился с нами, расцеловал мою сестрицу и проводил нас до коляски, которая была нагружена цветами, плодами и двумя огромными свертками конфет.

Воротясь, мы поспешили переодеться и пустились в дальнейший путь. Во всю дорогу, почти до самой ночевки, я не переставал допрашивать отца, и особенно мать, обо всем слышанном и виденном мною в этот день. Ответы вели к новым вопросам, и объяснения требовали новых объяснений. Наконец я так надоел матери, что она велела мне более не расспрашивать ее об Никольском.

Я обратился к отцу и вполголоса продолжал говорить с ним о том же, сообщая при случае и мои собственные замечания и догадки. Вполне не разрешенными вопросами остались: отчего вода из фонтана била вверх? отчего солнечные часы показывают время? как они устроены? и что такое значит возвышение, на котором сидели музыканты? Когда же я спросил, кто такие эти красавицы барышни, которые пели, отец отвечал мне, что это были крепостные горничные девушки Дурасова, выученные пению в Москве. Что же они такое пели и на каком языке – этого опять не знали мой отец и мать. Когда речь дошла до хозяина, то мать вмешалась в наш разговор и сказала, что он человек добрый, недалкий, необразованный, и в то же время самый тщеславный, что он, увидев в Москве и Петербурге, как живут роскошно и пышно знатные богачи, захотел и сам так же жить, а как устроить ничего не умел, то и нанял себе разных мастеров, немцев и французов, но, увидя, что дело не ладится, приискал какого-то промотавшегося господина, чуть ли не князя, для того чтоб он завел в его Никольском все на барскую ногу; что Дурасов очень богат и не щадит денег на свои затеи; что несколько раз в год он дает такие праздники, на которые съезжается к нему вся губерния. Мать пожурила меня, зачем я был так смешон, когда услышал музыку: «Ты точно был крестьянский мальчик, который сроду ничего не видывал, кроме своей избы, и которого привели в господский дом». Я отвечал, что я точно сроду ничего подобного не видывал и потому был так удивлен. Мать возразила, что не надобно показывать своего удивления, а я спросил, для чего не надобно его показывать. «Для того, что это было смешно, а мне стыдно за тебя», – сказала мать. У меня вертелось на уме и на языке новое возражение в виде вопроса, но я заметил, что мать сердится, и замолчал; мы же в это самое время приехали на ночевку в деревню Красный Яр, в двенадцати верстах от Симбирска и в десяти от переправы через Волгу. Мы должны были поспеть на перевоз на солнечном восходе, чтоб переправиться через реку в тихое время, потому что каждый день, как только солнышко обогреть, разыгрывался сильный ветер.

Проснувшись рано поутру, я увидел, что наша карета отпряжена и стоит на отлогом песчаном берегу. Солнышко только что взошло. Было очень прохладно, и даже в карете пахло какой-то особенной свежей сыростью, которая чувствуется только на песчаных берегах больших рек. Это совсем не то, что сырость от прудов или болот, всегда имеющая неприятный запах.

Двухверстная быстро текущая ширина Волги поразила меня, и я с ужасом смотрел на это пространство, которое надобно нам переплыть. Нас одели потеплее и посадили на опрокинутую лодку. По берегам тянулись, как узоры, следы сбежавших волн, и было видеть, как хлестали и куда доставали они во время бури. Это были гладкие окраины из крупного песка и мелкой гальки. Стаи маргышек с криком вились над водой, падая иногда на нее и ныряя, чтоб поймать какую-нибудь рыбку. Симбирск с своими церквами и каменным губернаторским домом, на высокой горе, покрытой сплошными плодовитыми садами, представлял великолепный вид; но я мало обращал на него вниманья. Около меня кипела шумная суматоха. На перевозе ночевало много народу, и уже одна большая завозня, битком набитая лошадьми и телегами с приподнятыми передками и торчащими вверх оглоблями, чернелась на середине Волги, а другая торопливо грузилась, чтобы воспользоваться благополучным временем. Перевозчиков из деревни Часовни, лежащей на берегу, набежало множество, предлагая нам свои услуги. У них был какой-то староста, который говорил моему отцу, чтоб он не всем верил, и что многие из них вовсе не перевозчики, и чтобы мы положились во всем на него. Нагрузилась до последней возможности и другая завозня, отвязали причалы, оттолкнулись от пристани и тихо пошли на шестах вверх по реке, держась около берега.

Подвели третью завозню, самую лучшую и прочную, как уверяли, поставили нашу карету, кибитку и всех девять лошадей. Не привыкшие к подобным переправам, добрые наши кони храпели и фыркали; привязать их к карете или перекладинам, которыми с двух сторон загоразивали завозню, было невозможно, и каждую пару держали за поводья наши кучера и люди:

с нами остались только Евсеич да Параша. Никому из посторонних не позволили грузиться, и вот тронулась и наша завозня, и тихо пошла вверх, также на шестах. «Взводись выше, молодцы! – кричал с берега староста. – Надо убить прямо на перевоз».

Неравнодушно смотрел я на эту картину и со страхом замечал, что ветерок, который сначала едва тянул с восхода, становился сильнее, и что поверхность Волги беспрестанно меняла свой цвет, – то темнела, то светлела, – и крупная рябь бесконечными полосами бороздила ее мутную воду. Проворно подали большую косную лодку, шестеро гребцов сели в весла, сам староста или хозяин стал у кормового весла. Нас подхватили под руки, перевели и перенесли в это легкое судно; мы расселись по лавочкам на самой его середине, оттолкнулись, и лодка, скользнув по воде, тихо поплыла, сначала также вверх; но, проплыв сажен сто, хозяин громко сказал: «Шапки долой, призывай Бога на помощь!»

Все и он сам сняли шапки и перекрестились; лодка на минуту приостановилась.

«С Богом, на перебой, работайте, молодцы», – проговорил кормщик, налегши обеими руками и всем телом на рукоятку тяжелого кормового весла, опустя ее до самого дна кормы и таким образом подняв нижний конец, он перекинул весло на другую сторону и повернул нос лодки поперек Волги. Гребцы дружно легли в весла, и мы быстро понеслись. Страх давно уже овладевал мною; но я боролся с ним и скрывал сколько мог; когда же берег стал уходить из глаз моих, когда мы попали на стрежень реки и страшная громада воды, вертящейся кругами, стремительно текущей с непреодолимою силою, обхватила со всех сторон и понесла вниз, как щепку, нашу косную лодочку, – я не мог долее выдерживать, закричал, заплакал и спрятал свое лицо на груди матери. Глядя на меня, заплакала и сестрица. Отец смеялся, называя меня трусишкой, а мать, которая и в бурю не боялась воды, сердилась и доказывала мне, что нет ни малейшей причины бояться. Пролежав несколько времени с закрытыми глазами и понимая, что это стыдно, я стал понемногу открывать глаза и с радостью заметил, что гора с Симбирском приближалась к нам. Сестрица уже успокоилась и весело болтала. Страх мой начал проходить; подплывая же к берегу, я развеселился, что всегда со мной бывало после какого-нибудь страха. Мы вышли на крутой берег и сели на толстые бревна, каких там много лежало.

Завозня с нашей каретой плыла еще посередине Волги; маханье веслами казалось издали ребячьей игрушкой и, по-видимому, нисколько завозни к нам не приближало. Ветер усиливался, карета парусила, и все утверждали, что наших порядочно снесет вниз. Около нас, по крутому скату, были построены лубочные лавочки, в которых продавали калачи, пряники, квас и великое множество яблок. Мать, которая очень их любила, пошла сама покупать, но нашла, что яблоки продавались не совсем спелые, и сказала, что это все падаль; кое-как, однако, нашла она с десяток спелых и, выбрав одно яблоко, очень сладкое, разрешила его, очистила и дала нам с сестрицей по половинке.

Я вообще мало едал сырых плодов, и яблоко показалось мне очень вкусным. В ожидании завозни отец мой, особенно любивший рыбу, поехал на рыбачьей лодке к прорезям и привез целую связку нанизанных на лычко стерлядей, чтоб в Симбирске сварить из них уху. Я и не думал проситься с отцом: меня бы, конечно, не пустили, да я и сам боялся маленькой лодочки, но зато я с большим удовольствием рассмотрел стерлядок; живых мне еще не удавалось видеть, и я выпросил позволение подержать их по крайней мере в руках. В ближайшей церкви раздался благовест, и колокольный звон, которого я давно не слышал и как-то даже мало замечал в Уфе, поразил мое ухо и очень приятно отозвался у меня в душе. Наконец и наша завозня с каретой и лошадьми, которую точно несколько снесло, причалила к пристани; экипажи выгрузили и стали запрягать лошадей; отец расплатился за перевоз, и мы пошли пешком на гору. Симбирская гора, или, лучше сказать, подъем на Симбирскую гору, высокую, крутую и косогористую, был тогда таким тяжелым делом, что даже в сухое время считали его более затруднительным, чем самую переправу через Волгу; во время же грязи для тяжелого экипажа это было препятствие, к преодолению которого требовались невероятные усилия; это был подвиг, даже

небезопасный. По счастью, погода стояла сухая. Когда мы взошли на первый взлобок горы, карета догнала нас; чтобы остановиться как-нибудь на косогоре и дать вздохнуть лошадям, надобно было подтормозить оба колеса и подложить под них камни или поленья, которыми мы запаслись: без того карета стала бы катиться назад. Потом все взошли, пешком же, на другую крутизну, на которой также кое-как остановили карету. Мать устала и не могла более идти и потому со мной и с моей сестрицей села в экипаж, а все прочие пошли пешком.

Крепкие и сильные наши лошади были все в мыле и так тяжело дышали, что мне жалко было на них смотреть. Таким образом, останавливаясь несколько раз на каждом удобном месте, поднялись мы благополучно на эту исполинскую гору^{3*}. У бабушки Прасковьи Ивановны был свой дом в Симбирске, в который она, однако, никогда не въезжала. Мы остановились в нем. Дом был по-тогдашнему прекрасный, хорошо убран и увешан картинами, до которых покойный Михайла Максимыч, как видно, был большой охотник. Если б я не видел Никольского, то и этот дом показался бы мне богатым и роскошным; но после Никольского дворца я нашел его не стоящим внимания.

Отец с матерью ни с кем в Симбирске не виделись; выкормили только лошадей да поели стерляжьей ухи, которая показалась мне лучше, чем в Никольском, потому что той я почти не ел, да и вкуса ее не заметил: до того ли мне было!..

Часа в два мы выехали из Симбирска в Чурасово и на другой день около полден туда приехали.

Прасковья Ивановна давно ожидала нас и чрезвычайно нам обрадовалась; особенно она ласкала мою мать и говорила ей: «Я знаю, Софья Николаевна, что если б не ты, то Алексей не собрался бы подняться из Багрова в деловую пору; да, чай, и Арина Васильевна не пускала. Ну, теперь покажу я тебе свой сад во всей его красоте. Яблоки только что поспели, а иные еще поспевают.

Как нарочно, урожай отличный. Посмотрю я, какая ты охотница до яблок?» Мать с искреннею радостью обнимала приветливую хозяйку и говорила, что если б от нее зависело, то она не выехала бы из Чурасова. Александра Ивановна Ковригина также очень обрадовалась нам и сейчас послала сказать Миницким, что мы приехали. Гостей на этот раз никого не было, но скоро ожидали многих.

Прасковья Ивановна, не дав нам опомниться и отдохнуть после дороги, сейчас повела в свой сад. В самом деле, сад был великолепен: яблони, в бесчисленном количестве, обремененные всеми возможными породами спелых и поспевающих яблок, блиставших яркими красками, гнулись под их тяжестью; под многие ветви были подставлены подпорки, а некоторые были привязаны к стволу дерева, без чего они бы сломились от множества плодов. Сильные родники били из горы по всему скату и падали по уступам натуральными каскадами, журчали, пенились и потом текли прозрачными, красивыми ручейками, освежая воздух и оживляя местность. Прасковья Ивановна была неутомимый ходок; она водила нас до самого обеда то к любимым родникам, то к любимым яблоням, с которых сама снимала какой-то длинную рогулькою лучшие спелые яблоки и потчевала нас.

Мать в самом деле была большая охотница до яблок и ела их так много, что хозяйка, наконец, перестала потчевать, говоря: «Ты этак, пожалуй, обедать не станешь». Старый буфетчик Иванушка уже два раза приходил с докладом, что кушанье остынет. Мы не исходили и половины сада, но должны были воротиться. Мы прямо прошли в столовую и сели за обед. В первый раз случилось, что и нас с сестрицей в Чурасове посадили за один стол с большими. С этих пор мы уже всегда обедали вместе, чем мать была особенно довольна. Прасковья Ивановна была так весела, так разговорчива, проста и пряма в своих речах, так добродушно смея-

³ * Вследствии этот въезд понемногу срывали, и он год от году становился положе и легче; но только недавно устроили его окончательно, то есть сделали вполне удобным, спокойным и безопасным.

лась, так ласково на нас смотрела, что я полюбил ее гораздо больше прежнего. Она показалась мне совсем другою женщиной, как будто я в первый раз ее увидел. Мы по-прежнему заняли кабинет и детскую, то есть бывшую спальню, но уже не были стеснены постоянным сиденьем в своих комнатах, и стали иногда ходить и бегать везде; вероятно, отсутствие гостей было этому причиной, но впоследствии и при гостях продолжалось то же. На другой день приехали из своей Подлесной Миницкие, которых никто не считал за гостей. Они встретились с моим отцом и матерью, как искренние друзья. Точно так, как и вчера, мы все вместе с Миницкими до самого обеда осматривали остальную половину сада, осмотрели также оранжереи и грунтовые сараи; но Прасковья Ивановна до них была небольшая охотница.

Она любила все растущее привольно, на открытом, свежем воздухе, а все добытое таким трудом, все искусственное ей не нравилось; она только терпела оранжереи и теплицы, и то единственно потому, что они были уже заведены прежде. В чурасовском саду всего более нравились мне родники, в которых я находил, между камешками, множество так называемых чертовых пальцев необыкновенной величины; у меня составилось их такое собрание, что не помещалось на одном окошке. Впрочем, это удовольствие скоро мне наскучило, а яблонный сад – еще более, и я стал с грустью вспоминать о Багрове, где в это время отлично клевали окуни и где охотники всякий день травили ястребами множество перепелок. Гораздо больше удовольствия доставляли мне книги, которые я читал с большею свободой, чем прежде. Тут прочел я несколько романов, как-то: «Векфильдский священник», «Герберт, или Прощай богатство». Особенно понравилась мне своей таинственностью «Железная маска»: интерес увеличивался тем, что это была не выдумка, а истинное происшествие, как уверял сочинитель.

Отец мой, побывав в Старом Багрове, уехал хлопотать по делам в Симбирск и Лукоянов. Он оставался там опять гораздо более назначенного времени, чем мать очень огорчалась.

Между тем опять начали наезжать гости в Чурасово и опять началась та же жизнь, как и в прошлом году. В этот раз я узнал и разглядел эту жизнь поближе, потому что мы с сестрицей всегда обедали вместе с гостями и гораздо чаще бывали в гостиной и диванной. В гостиной обыкновенно играли в карты люди пожилые и более молчали, занимаясь игрою, а в диванной сидели все неиграющие, по большей части молодые; в ней было всегда шумнее и веселее, даже пели иногда романсы и русские песни. До сих пор осталось у меня в памяти несколько куплетов песенки князя Хованского⁴, которую очень любила петь сама Прасковья Ивановна. Вот эти куплеты:

Пастухи бегут ко стаду,
Всяк с подружкой своей;
Мне твердят лишь то в досаду:
Нет, здесь нет твоих друзей.

На поля зефиры мчатся
И опять летят с полей;
Шумом их слова твердятся:
Нет, здесь нет твоих друзей.

Травка, былие, цветочек,
Желты класы, вид полей,
Всякий мне твердит листочек:
Нет, здесь нет твоих друзей.

⁴ Князь Г. А. Хованский – поэт и переводчик XVIII века.

Так, их нет со мной, конечно,
Нет друзей души моей!
Я мучение сердечно
Без моих терплю друзей.

И эти бедные вирши (напечатанные, кажется, в «Аонидах») не только в пении, где мелодия и голос певца или певицы придают достоинство и плохим словам, но даже в чтении производили на меня живое и грустное впечатление.

Я выучил их наизусть и читал с большим увлечением; окружающие хвалили меня.

Мать сказала об этом Прасковье Ивановне, и она очень была довольна, что мне так нравится любимая ее песня. Она заставила меня прочесть ее вслух при гостях в диванной и очень меня хвалила. С этих пор я стал пользоваться ее особенной благосклонностью.

Чурасовская лакейская и девичья по-прежнему, или даже более, возбуждали опасения моей матери, и она заранее взяла все меры, чтоб предохранить меня от вредных впечатлений. Она строго приказала мне ни с кем не разговаривать, не вслушиваться в речи лакеев и горничных и даже не смотреть на их неприличное между собой обращение. Евсеичу и Параше было приказано отдалять нас от чурасовской прислуги. Но исполнение таких приказаний трудно, и никогда нельзя на него полагаться. Ушей не заткнешь и глаз не зажмуришь, а услышав или увидав кое-что новое и любопытное – захочешь услышать или увидеть продолжение. Самая строгость запрещения подстрекала любопытство, и я невольно обращал внимание на многое, чего мне не надо было ни слышать, ни видеть. Опасаясь, чтоб не вышло каких-нибудь неприятных историй, сходных с историей Параша, а главное, опасаясь, что мать будет бранить меня, я не все рассказывал ей, оправдывая себя тем, что она сама позволила мне не сказывать тетушке Татьяне Степановне о моем посещении ее заповедного амбара. Дети необыкновенно памятьливы, и часто неосторожно сказанное при них слово служит им поощрением к такого рода поступкам, которых они не сделали бы, не услышав этого ободряющего слова.

Я всегда предпочитал детскому обществу общество людей взрослых, но в Чурасове оно как-то меня не удовлетворяло. Сидя в диванной и внимательно слушая, о чем говорили, чему так громко смеялись, я не мог понять, как не скучно было говорить о таких пустяках? Ничто не возбуждало моего сочувствия, и все рассказы разных анекдотов о соседях, видно очень смешные, потому что все смеялись, казались мне не занимательными и незабавными. Я пробовал даже сидеть в гостиной подле играющих в карты, но и там мне было скучно, потому что я не понимал игры, не понимал слов и не понимал споров играющих, которые иногда довольно горячились. Любимыми гостями Прасковьи Ивановны были Александр Михайлыч Карамзин и Никита Никитич Философов, женатый на его сестре. Карамзина все называли богатырем; и в самом деле редко было встретить человека такого крепкого, могучего сложения. Он был высок ростом, необыкновенно широк в плечах, довольно толст и в то же время очень строен; грудь выдавалась у него вперед колесом, как говорится; нрав имел он горячий и веселый; нередко показывал он свою богатырскую силу, играя двухпудовыми гириями, как легкими шариками. Один раз, в припадке веселости, схватил он толстую и высокую Дарью Васильевну и начал метать ею, как ружьем солдатский артикул. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы и седые косы растрепались по плечам, поднял из-за карт всех гостей, и долго общий хохот раздавался по всему дому; но мне жалко было бедной Дарьи Васильевны, хотя я думал в то же время о том, какой бы чудесный рыцарь вышел из Карамзина, если б надеть на него латы и шлем и дать ему в руки щит и копье. Н. Н. Философов был небольшого роста, но очень жив и ловок. Язык его называли бритвой: он шутил беспрестанно, и я часто слышал выражение, что он «мертвого рассмешит». Но повторяю, что все это как-то мало меня занимало, и я обратился к детскому обществу милой моей сестрицы, от которого сначала удалялся. Ей было не скучно в это время, потому что в Чурасове постоянно гостили

две дочери Миницких, с которыми она очень подружилась. Старшая из них, А. П., была мне ровесница и так же, как я, очень любила читать книжки. Она привезла с собой тетрадку стихотворений князя Ив. М. Долгорукова. Она очень любила его стихи и предпочитала всем другим стихам, которые слышала от меня. Я горячо вступался за своих, известных мне стихотворцев, выученных мною почти наизусть, и у нас с ней почти всегда выходили прежаркие споры.

Противница моя не соглашалась со мной, и я, чтоб отомстить ей за оскорбленную честь любимых мною сочинителей, бранил князя Ивана Михайловича Долгорукова, хотя, сказать по правде, он мне очень нравился, особенно стихи «Бедняку», начинающиеся так:

Парфен! Напрасно ты вздыхаешь
О том, что должен жить в степи,
Где с горя, скуки изнываешь.
Ты беден – следственно, терпи.
Блаженство даром достается
Таким, как ты, – на небеси;
А здесь с поклона все дается,
Ты беден – следственно, терпи! и пр.

Потихоньку я выучил лучшие его стихотворения наизусть. Дело доходило иногда до ссоры, но ненадолго: на мировой мы обыкновенно читали наизусть стихи того же князя Долгорукова, под названием «Спор». Речь шла о достоинстве солнца и луны. Я восторженно декламировал похвалы солнцу, а Миницкая повторяла один и тот же стих, которым заканчивался почти каждый куплет: «Все так, да мне луна милей». Вот как мы это делали:

Я

Луч солнца греет и питает;
Что может быть его светлей?
Он с неба в руды проникает...

Миницкая

Все так, да мне луна милей.

Я

Когда весной оно проглянет
И верх озолотит полей,
Все вдруг цвести, рождаться станет...

Миницкая

Все так, да мне луна милей... и пр. и пр.

Потом Миницкая читала последующие куплеты в похвалу луне, а я – окончательные четыре стиха, в которых вполне выражается любезность князя Долгорукова:

Вперед не спорь, да будь умнее
И знай, пустая голова,
Что всякой логики сильнее

Любезной женщины слова.

Из такого чтения выходило что-то драматическое. Я много и усердно хлопотал, передавая мои литературные убеждения, наконец довел свою противницу до некоторой уступки; она защищала кн. Долгорукова его же стихом и говорила нараспев звучным голосом своим, не забываясь о мере: Все так, да Долгорукой мне милей!

Долгое отсутствие моего отца, сильно огорчавшее мою мать, заставило Прасковью Ивановну послать к нему на помощь своего главного управляющего Михайлушку, который в то же время считался в Симбирской губернии первым поверенным, ходяком по тяжёлым делам: он был лучший ученик нашего слепого Пантелея. Не говоря ни слова моей матери, Прасковья Ивановна написала письмецо к моему отцу и приказала ему сейчас приехать. Отец мой немедленно исполнил приказание и, оставя вместо себя Михайлушку, приехал в Чурасово.

Мать обрадовалась, но радость ее очень уменьшилась, когда она узнала, что отец приехал по приказанию тетушки. Я слышал кое-какие об этом неприятные разговоры. Через несколько дней, при мне, мой отец сказал Прасковье Ивановне: «Я исполнил, тетушка, вашу волю; но если я оставлю дело без моего надзора, то я его проиграю». Прасковья Ивановна отвечала, что это все вздор и что Михайлушка побольше смыслит в делах. Отец мой остался, но весьма неохотно. Предсказание его сбылось: недели через две Михайлушка воротился и объявил, что дело решено в пользу Богдановых. Отец мой пришел в отчаяние, и все уверения Михайлушки, что это ничего не значит, что дело окончательно должно решиться в сенате (это говорил и наш Пантелей), что тратиться в низших судебных местах – напрасный убыток, потому что, в случае выгодного для нас решения; противная сторона взяла бы дело на апелляцию и перенесла его в сенат и что теперь это самое следует сделать нам, – нисколько не успокаивали моего отца. Прасковья Ивановна и мать соглашались с Михайлушкой, и мой отец должен был замолчать. Михайлушке поручено было немедленно выхлопотать копию с решения дела, потому что прошение в сенат должен был сочинить поверенный, Пантелей Григорьич, в Багрове.

Между тем наступал конец сентября, и отец доложил Прасковье Ивановне, что нам пора ехать, что к Покрову он обещал воротиться домой, что матушка все нездорова и становится слаба; но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. «Все пустое, – говорила она, – матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внушек ей оставлен на утешение. Я отпущу вас к вашему празднику, к Знаменью». Отец мой докладывал, что до Знаменья, то есть до 27 ноября, еще с лишком два месяца и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в карете. Прасковья Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала: «Ну, так и быть, отпускаю вас к Михайлину дню».

Как ни хотелось моему отцу исполнить обещание, данное матери, горячо им любимой, как ни хотелось ему в Багрово, в свой дом, в свое хозяйство, в свой деревенский образ жизни, к деревенским своим занятиям и удовольствиям, но мысль послушаться Прасковьи Ивановны не входила ему в голову. Он повиновался, как и всегда. Я был огорчен не меньше отца. С каждым днем более надоедала мне эта городская жизнь в деревне; даже мать скорее желала воротиться в противное ей Багрово, потому что там оставался маленький братец мой, которому пошел уже третий год. Отец очень грустил и даже плакал. П. И. Миницкий и А. И. Ковригина, как самые близкие люди к Прасковье Ивановне, решились попробовать упросить ее, чтоб она нас отпустила или, по крайней мере, хоть одного моего отца. Но Прасковья Ивановна приняла такое ходатайство с большим неудовольствием и сказала: «Алексея я, пожалуй бы, отпустила, да это огорчит Софью Николавну, а я так ее люблю, что не хочу с ней скоро расстаться и не хочу ее огорчить». Делать было нечего. Отложили мысль об отъезде, попринудили себя, и веселая чурасовская жизнь потекла по-прежнему. Пришел Покров. Проснувшись довольно рано поутру, я увидел, что отец мой сидит на постели и вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтоб не разбудить мою мать, подошел ко мне, сел на диван, на котором я

обыкновенно спал, и сказал вполголоса: «Я уж давно не сплю. Я видел дурной сон, Сережа. Верно, матушка очень больна». Слезы показались у него на глазах. Мне стало так жаль бедного моего отца, что я начал его обнимать и сам готов был заплакать. В самую эту минуту проснулась мать и очень удивилась, увидя, что мы с отцом обнимаемся. Она подумала, не захворал ли я; но отец рассказал ей, в чем состояло дело, рассказал также и свой сон, только так тихо, что я ни одного слова не слышал. Мать старалась его успокоить и говорила, что он видел сон страшный, а не дурной и что «праздничный сон – до обеда». Эти слова запали в мой ум, и я принялся рассуждать: «Как же это маменька всегда говорила, что глупо верить снам и что все толкования их – совершенный вздор, а теперь сама сказала, что отец видел страшный, а не дурной сон? Стало, бывают сны дурные? Стало, праздничный сон сбывается до обеда? Сегодня большой праздник. Вот увидим, что случится до обеда». Кажется, мать успела успокоить моего отца, потому что после они разговаривали весело. Вскоре все встали, начали одеваться и потом пошли к обедне. Прасковья Ивановна была уже в церкви. Мало-помалу собрались все гости и домашние: началась служба; священник и дьякон были в новых золотых ризах. Прасковья Ивановна пела, стоя у клироса, вместе с своими певчими. По окончании обедни все поздравили ее с праздником и весело возвратились в дом, кто пешком, кто в дрожках и линейках, потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидал чай и кофе. Вдруг вошел человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привез нарочный из Багорова. Отец мой побледнел, руки у него затряслись; он с трудом распечатал конверт, прочел первые строки, зарыдал, опустил письмо на колени и сказал: «Матушка отчаянно больна». Все очень встревожились, но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Прасковье Ивановне и твердым голосом сказал: «Как вам угодно, тетушка, а мы сегодня же едем; если вы не пустите Софью Николавну, то я поеду один, на перекладных, в телеге». Прасковья Ивановна, сама очень встревоженная, торопливо сказала: «Поезжайте все, я вас не держу». Отец ту же минуту вышел, чтоб распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали; тетушка Татьяна Степановна писала: «Поспешите, братец, своим приездом. Матушка отчаянно больна. Третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю нарочного, моего Николая. Приказала ему и день и ночь ехать на переменных. Матушка как опомнится на минутку, то все спрашивает вас». В конце была приписка, что священник приехал, исповедовал больную глухую исповедью и приобщил запасными дарами и говорит, что она очень трудна.

Видно было, что Прасковью Ивановну сильно взволновало и огорчило это известие. Она не пустила моего отца к Покрову в Багрово без всякой основательной причины и, конечно, очень в том раскаивалась. Печально и строго было ее лицо, брови сдвинуты. Она долго молчала; молчали и все.

Потом, сказав: «Боже сохрани и помилуй, если он не застанет матери!» – встала и ушла в свою спальню. Страх и жалость боролись в моей душе. Мне жалко было бабушку и еще более жалко моего отца. Но скоро суеверный страх взял верх, овладел всеми моими чувствами. К Покрову отец обещал приехать, в Покров видел дурной сон, и в тот же день, через несколько часов, – до обеда сон исполнился. Что же это значит? Можно ли после этого не верить снам? Не Бог ли посылает их? И я верил им, хотя мои сны не сбывались.

Мать пошла укладываться, и к обеду было все уложено. Подали кушать.

Прасковья Ивановна наперед зашла к нам в кабинет. Она была уже спокойна и твердым голосом уговаривала моего отца не сокрушаться заранее, а положиться во всем на милость Божию. «Я надеюсь, – между прочим, сказала она, – что Господь не накажет так строго меня, грешную, за мою неумышленную вину.

Надеюсь, что ты застанешь Арину Васильевну живую, и что в день Покрова Божией Матери, то есть сегодня, она почувствует облегчение от болезни».

Отец мой как будто несколько ободрился от ее слов. Прасковья Ивановна взяла за руки моего отца и мать и повела их в залу, где ожидало нас множество гостей, съехавшихся к празднику. Она посадила нас всех около себя и особенно занималась нами. Покуда мы обедали, карета была подана к крыльцу.

После стола, выпив кофею, без чего Прасковья Ивановна не хотела нас пустить, она первая встала и, помолясь Богу, сказала: «Прощайте, друзья мои. Благодарю Алексея Степаныча за исполнение моего желанья и за послушание. А тебя, Софья Николавна, за твою родственную любовь и дружбу.

Кажется, мы с тобой друг друга не разлюбим. Пришлите ко мне нарочного с известием об Арине Васильевне...»

Через несколько минут мы уже ехали небольшой рысью и по грязной дороге. Осенний мелкий дождь с ветром так и рубил в поднятое окно, подле которого я сидел, и водяные потоки, нагоняя и перегоняя друг друга, невольно наблюдаемые мною, беспрестанно текли во всю длину стекла. Не успел я опомниться, как уже начало становиться темно, и сумерки, как мне казалось, гораздо ранее обыкновенного, обхватили нашу карету. Чуть-чуть светлела красноватая полоса там, где село солнышко. У нас была совершенная тишина; никто не говорил ни одного слова.

1858

Иван Тургенев (1818–1883)

Бежин луг

Из книги «Записки охотника»

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно вошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не яркие; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не почувствуете сырости. Подобной погоды желает земледelec для уборки хлеба...

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожидаемой знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидел совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге! – подумал я, – да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», – и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие

мышь уже носилась над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, – думал я про себя, – тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далеко-далеко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Парахинские кусты! – воскликнул я наконец, – точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попала какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало, – одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть – но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» – повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазами и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной ложине. Странное чувство тотчас овладело мной. Ложина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших, белых камней, – казалось, они сползли туда для тайного совещания, – и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам – наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцающая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы...

Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дожидаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопрошительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребяташки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, наострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрепятственно меняя ноги, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновение, в свою очередь, добежали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах – запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг них; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги – не отцовские. У второго мальчика, Пав-

луши, волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, – что и говорить! – а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатаанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились – он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестящие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, – на его языке по крайней мере, – не было слов. Он был маленького роста, сложения щедедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смиренхонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

– Ну, и что ж ты, так и видел домового?

– Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, – отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, – а слышал... Да и не я один.

– А он у вас где водится? – спросил Павлуша.

– В старой рольне^{5*}.

– А разве вы на фабрику ходите?

– Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках состоим^{6**}.

– Вишь ты – фабричные!..

– Ну, так как же ты его слышал? – спросил Федя.

– А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребята; всех было нас ребяток человек десять – как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребятам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домового придет?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как

⁵ * «Рольней» или «черпальной» на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом.

⁶ ** «Лисовщики» гладят, скоблят бумагу.

вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то^{7***} спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что

вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спускаться стал, и этак спускается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал – дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим – ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма^{8*} зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!

– Вишь как! – промолвил Павел. – Чего ж он раскашлялся?

– Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

– А что, – спросил Федя, – картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

– Нет, еще сыры... Вишь, плеснула, – прибавил он, повернув лицо в направлении реки, – должно быть, шука... А вон звездочка покатила.

– Нет, я вам что, братцы, расскажу, – заговорил Костя тонким голоском, – послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

– Ну, слушаем, – с покровительствующим видом сказал Федя.

– Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

– Ну да; знаем.

– А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, – пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; зашел – бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, – нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, – присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит – никого. Он опять задремал – опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц – все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, – а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, зная, господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается... Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человек, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятливо стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор вот он все невеселый ходит.

⁷ *** «Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо.

⁸ * Сетка, которой бумагу черпают.

– Эка! – проговорил Федя после недолгого молчания, – да как же это может этакая лесная нечисть христианскую душу спортить, – он же ее не послушался?

– Да вот поди ты! – сказал Костя. – И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

– Твой батька сам это рассказывал? – продолжал Федя.

– Сам. Я лежал на полатах, все слышал.

– Чудное дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

– Да, понравился! – подхватил Ильюша. – Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

– А ведь вот и здесь должны быть русалки, – заметил Федя.

– Нет, – отвечал Костя, – здесь место чистое, вольное. Одно – река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стенимый звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься – и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

– С нами крестная сила! – шепнул Илья.

– Эх вы, вороны! – крикнул Павел. – Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? – сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

– А слышали вы, ребятки, – начал Ильюша, – что намеднись у нас на Варнавицах приключилось?

– На плотине-то? – спросил Федя.

– Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все казюли^{9*} водятся.

– Ну, что такое случилось? сказывай...

– А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могила его еще видна, да и та чуть видна: так – бугорочек... Вот, на днях, зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелен. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, – что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки... Но а барашек – ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него тарашится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукнул, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, – говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша...»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша

⁹ * По-орловскому: змеи.

громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

– Что там? что такое? – спросили мальчики.

– Ничего, – отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, – так, что-то собаки зачужали. Я думал, волк, – прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хвостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» – думал я, глядя на него.

– А видали их, что ли, волков-то? – спросил трусишка Костя.

– Их всегда здесь много, – отвечал Павел, – да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

– А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, – заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство). – Да и собак тут нелегкая дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

– Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали – покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?»

– Он его спросил? – перебил изумленный Федя.

– Да, спросил.

– Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?

– Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: – Разрыв-травы. – А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? – Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон...

– Вишь какой! – заметил Федя, – мало, знать, пожил.

– Экое диво! – промолвил Костя. – Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

– Покойников во всяк час видеть можно, – с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья... – Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидеть, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

– Ну, и видела она кого-нибудь? – с любопытством спросил Костя.

– Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала... только все как будто собачка этак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась – Ивашка Федосеев идет...

– Тот, что умер весной? – перебил Федя.

– Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться, – ах ты, господи! – сама идет по дороге, сама Ульяна.

– Неужто сама? – спросил Федя.

– Ей-богу, сама.

– Ну что ж, ведь она еще не умерла?

– Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожая, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, – налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

– Знать, от дому отбился, – заметил Павел. – Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

– А что, Павлуша, – промолвил Костя, – не праведная ли эта душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

– Может быть, – проговорил он наконец.

– А скажи, пожалуй, Павлуша, – начал Федя, – что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное?*¹⁰

– Как солнца-то не стало видно? Как же.

– Чай, напугались и вы?

– Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напередки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку**¹¹увидят.

– Какого это Тришку? – спросил Костя.

– А ты не знаешь? – с жаром подхватил Ильюша. – Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка – эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет – так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, – он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется – они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

– Ну да, – продолжал Павел своим неторопливым голосом, – такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят – вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная... Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» – да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполо-

¹⁰ * Так мужики называют у нас солнечное затмение.

¹¹ ** В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе.

пились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчишки засмеялись и опять приумолкли на мгновение, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли...

Станный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее...

Костя вздрогнул. «Что это?»

– Это цапля кричит, – спокойно возразил Павел.

– Цапля, – повторил Костя... – А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, – прибавил он, помолчав немного, – ты, может быть, знаешь...

– Что ты слышал?

– А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел – знаешь, там, где он сугибелью*¹² выходит, – там ведь есть бучило**¹³; знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезненный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась?

– В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры, – заметил Павлуша, – так, может быть, его душа жалобится.

– А ведь и то, братцы мои, – возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза... – Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

– А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, – продолжал Павел, – которые так жалобно кричат.

– Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) – Эх ее! – невольно произнес Костя, – словно леший кричит.

– Леший не кричит, он немой, – подхватил Ильюша, – он только в ладоши хлопает да трещит...

– А ты его видал, лешего-то, что ли? – насмешливо перебил его Федя.

– Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

– Ну, и видел он его?

– Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...

– Эх ты! – воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами, – пфу!..

– И зачем эта погань в свете развелась? – заметил Павел. – Не понимаю, право!

– Не бранись: смотри, услышит, – заметил Илья.

Настало опять молчание.

¹² * Сугибель – крутой поворот в овраге.

¹³ ** Бучило – глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом.

– Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, – раздался вдруг детский голос Вани, – гляньте на Божьи звездочки, – что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

– А что, Ваня, – ласково заговорил Федя, – что, твоя сестра Анютка здорова?

– Здорова, – отвечал Ваня, слегка картавя.

– Ты ей скажи – что она к нам, отчего не ходит?..

– Не знаю.

– Ты ей скажи, чтобы она ходила.

– Скажу.

– Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

– А мне дашь?

– И тебе дам.

Ваня вздохнул.

– Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.

– Куда ты? – спросил его Федя.

– К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

– Смотри, не упали в реку! – крикнул ему вслед Ильюша.

– Отчего ему упасть? – сказал Федя, – он остережется.

– Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, – прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

– А правда ли, – спросил Костя, – что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

– С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

– А говорят, – продолжал Костя, – Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбownik обманул.

– От того самого.

– А помнишь Васю? – печально прибавил Костя.

– Какого Васю? – спросил Федя.

– А вот того, что утонул, – отвечал Костя, – в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чужая она, Феклиста-то, что ему от воды гибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятами, летом в речку купаться, – она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, Господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, – глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои,

да и затынет песенку, – помните, Вася-то все такую песенку певал, – вот ее-то она и затынет, а сама плачет, плачет, горько Богу жалится...

– А вот Павлуша идет, – молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

– Что, ребята, – начал он, помолчав, – неладно дело.

– А что? – торопливо спросил Костя.

– Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

– Что ты, что ты? – пролепетал Костя.

– Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

– Ах ты Господи! ах ты Господи! – проговорили мальчики, крестясь.

– Ведь это тебя водяной звал, Павел, – прибавил Федя... – А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.

– Ах, это примета дурная, – с расстановкой проговорил Ильюша.

– Ну, ничего, пушай! – произнес Павел решительно и сел опять, – своей судьбы не минешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

– Что это? – спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался.

– Это кулички летят, посвистывают.

– Куда ж они летят?

– А туда, где, говорят, зимы не бывает.

– А разве есть такая земля?

– Есть.

– Далеко?

– Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоединился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, – в нем снова как будто разливалась сырость... Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понутив головы... Сладкое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро начиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обгаренным

ным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редяющего тумана, – полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принесли звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убится, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

1831

Надежда Лухманова (1844–1907)

Феникс

Это было летом. Андрей Павлович Валищев и жена его, Александра Михайловна, сидели на скамейке у самого озера и глядели на лодки, скользившие по его гладкой, блестящей, как полированная сталь, поверхности. Порою до них долетали смех, обрывки разговоров катающихся, а издалека, с противоположного берега, капризом ветра доносило то громкие аккорды, то тихие, как бы заглушенные ватой, музыкальные волны какого-то оркестра. Солнце садилось. Тихие, грустные сумерки кралась по небу, затягивая окрестность прозрачно-серым пологом. Андрей Павлович сидел близко около жены; животная теплота ее молодого, здорового тела, прикрытого тонким батистом, сообщалась ему, устанавливая ту интимность, которая минутами сливается в одно жену и мужа... Вдали по дорожке закрипел песок, и Валищев вдруг почувствовал, как мягко прильнувшие к нему плечо и рука молодой женщины выпрямились, окрепли и как бы насторожились. Широкие, твердые шаги приближались, послышался свист, затем прыжки собаки, очевидно догонявшей своего хозяина. Александра Михайловна вздрогнула, вскочила с места. С радостным лаем, с визгом восторга от нечаянной встречи на нее прыгала красивая борзая собака; сверкая громадными, черными глазами, животное старалось лизнуть в самое лицо молодую женщину. Хозяин собаки, поравнявшись с сидевшими, прибавил шагу и, уже отойдя довольно далеко, снова засвистал, на этот раз резко и пронзительно. Собака подняла уши, секунду постояла в нерешительности, виляя хвостом, затем еще раз бросилась на молодую женщину, лизнула-таки ее на этот раз в подбородок и стрелою понеслась на зов хозяина. Александра Михайловна, бледная, взволнованная, отряхивала платье.

– Чья это собака? – спросил жену Андрей Павлович.

– Почем я знаю, – отвечала она, – я испугалась, думала, она бешеная, – вдруг бросилась на меня.

– И... ее хозяина не знаешь?

– Конечно, нет, иначе он поклонился бы мне.

Александра Михайловна подняла, наконец, свои синие глаза и взглянула на мужа. Он тоже поглядел на нее в упор и встал. Ее глаза глядели ясно, твердо и невинно. Он глядел на нее, молчал и был убежден, что она лжет.

* * *

Июнь стоял в полной, летней красе, оплодотворенная земля дышала жаром, наполняя воздух живительной силой и жаждой жизни. По утрам в кустах и деревьях гремели хоры птиц, в полдень солнце озаряло все небо, румяня пышные облака, замиравшие в ярко-синем небе. Вечером по полям и прогалинам леса, медленно крадучись, ложились трепетные тени, прозрачный воздух особенно ясно отдавал каждый звук, шорох и сладкая грусть замиравшего дня охватывала всю природу, а ночи сливали землю с небом, даль тонула и пропадала в бесконечности.

Валищевы, муж и жена, по-прежнему гуляли, катались, выезжали и принимали. Словом, пользовались летом и дачей. Со времени прогулки на озеро прошла неделя, и тот, и другой, казалось, совершенно забыли о глупом эпизоде с борзой собакой.

В большой, нарядной спальне Валищевых бронзовые часики звонко и мелодично пробили шесть. На балконе серый попугай, спавший в клетке, покрытой зеленой саржей, проснулся, встряхнулся всеми перьями и крикнул: «Кто пришел?». Валищев вздрогнул, как если бы его толкнули в бок, и сразу очнулся. Сердце его билось усиленным перебоем. Он взглянул направо, кровать Александры Михайловны была пуста, кругом стояла притаившаяся жуткая тишина, полная недобрых мыслей, невысказанных подозрений. Он встал, нервно потягиваясь и вздрагивая, обошел всю дачу и, не будя прислуги, не подымая ни штор, ни гардин, сел у окна, выходящего в палисадник, откуда ему хорошо были видны и крыльцо, и калитка. Скоро он услышал мелкие, знакомые шаги, чуткое ухо его уловило в них тревожную поспешность. Калитка скрипнула, Александра Михайловна стояла в десяти шагах от него, вся залитая солнцем. Темные волны ее волос растрепались, лицо было бледно, глаза широким, жадным взглядом охватили окна и двери и, успокоенные полным безмолвием дачи, приняли радостное выражение. Она провела рукою по платью, поправила у ворота кружево и тихо, грациозно, как кошка, возвращающаяся из ночного похождения, скользнула на балкон. Перед нею стоял муж и глядел ей прямо в лицо.

– Откуда? – спросил он, беря ее за руку и убеждаясь, что страх заледенит нежные, тонкие пальцы.

– Как ты меня испугал!.. Гуляла... Купалась! – Она показала ему еще сырое полотенце, перекинутое через плечо, и провела его рукой по влажным завиткам, прильнувшему к шее. – Вольно же тебе спать так сладко, что у меня не хватило духа разбудить тебя! – И взмахнув густыми ресницами, она подняла на мужа синие глаза, дышавшие чистотой и невинностью. Он глядел на нее, молчал и был убежден, что она лжет.

* * *

Лицо Александры Михайловны было той банальной красоты, которая сотнями встречается всюду. Правильные черты без особого выражения. Фигура – обыкновенный петербургский силуэт элегантной женщины, шуршащей своими шелковыми юбками и оставляющей за собою струю модных духов. Но едва она поднимала ресницы, едва осеняла своими глазами, как все лицо ее преображалось, как преображается темная комната, в которую внезапно попадает струя свежего воздуха и луч яркого света; все лицо ее становилось неотразимо прелестным, и самый холодный, самый занятой человек, с восторгом останавливался перед ней. Это не были влажные, манящие глаза куртизанки, не наигранные, блестящие поддельной страстью взгляды кокетки, это не были пустые, ангельские взоры наивной девственницы, – это были глаза женщины! В них было: тепло, блеск, ласка, нега, стыдливость и страсть, их взор широко и ясно охватывал весь мир, а в глубине зрачков лежала какая-то тайна. Скорбь ангела, обреченного жить на земле, тоска возвышенной души, брошенной в грязь и горе людской жизни.

Андрей Павлович терялся перед ее глазами, – он женился на ней, чтобы ближе и больше любоваться этими живыми сапфирами. Он ставил ее против света, брал за руки и, отстранив от себя, глядел в их глубину; сердце его сжималось, ему казалось, что она страдает, что на дне души ее лежит какая-то скрытая, неизвестная ему боль, и он готов был отдать свою душу, всю жизнь, чтобы вынуть из них это жало тоски, а глаза ее тихо светились, влажно улыбались ему, и сердце его дрожало от избытка наслаждения и счастья. Год он был безумно влюблен в глаза своей жены, он подстерегал в них какую-нибудь перемену, но глаза оставались все те же, так же светились, горели, гасли, так же поражали своей скорбной глубиной. С ужасом он убеждался, что жена его совсем не добра, или, вернее, что у нее только отрицательная доброта эгоистов, одинаковая к людям, животным, вещам, проявляющаяся только в наружной форме слов и улыбок. Он замечал, что она лжива, что ума ее хватает только на хитрость, что она старается провести его даже в самых обыденных мелочах жизни, – и, все-таки, едва поднимая-

лись ее ресницы, и на него лился свет ее синих глаз, он снова обожал ее и терял способность холодного анализа.

– Я думаю, можно и поцеловать жену за то, что она так рано встала?

Александра Михайловна протянула мужу свой гладкий лоб. Он поцеловал.

– Теперь чаю, чаю хочу! – захолопотала она капризно-детским тоном, засуетилась, позвонила и, перейдя в столовую, забренчала посудой, заваривая чай и расстановивая сливочник, хлеб, точно играя в хозяйку...

– Андрей Павлович, тебе со сливками чай, скорее простынет, а то ты опоздаешь на этот поезд.

– Я не еду.

– Как не едешь?

Ее голос упал.

– Почему не едешь?

– Потому что не еду. Я забыл тебе сказать, что еще вчера так устроил дела, что три дня не поеду.

– Вот как... Да это сюрприз, какой же ты милый! Я очень рада... только это меняет несколько мои планы.

– Какие же именно?

– А вот я как раз сегодня в час обещала Лиде Варгиной ехать с нею в город.

– Ты ничего мне не говорила.

– Потому что мы решили с нею это сейчас, в купальне.

– А... в купальне!

– Да, я встретила ее у озера и сманила к себе купаться, а там мы решили сделать маленький набег на гостинный двор, так, á la recherche des nouveautés¹⁴, надо будет ей дать знать, что я не еду.

После чая Андрей Павлович сидел на террасе, читал свою газету, а Александра Михайловна, примостившись у крошечного письменного столика, писала Варгиной, глаза ее были опущены на бумагу, и мелкие черты лица выдавали досаду, тонкие, бесцветные губы были сжаты, левое ухо горело, на щеке играло пятно нервного раздражения. В груди Валищева все дрожало, нервы напряглись, и, сидя спиной к жене, он в зеркало наблюдал за каждым ее движением. Молодая женщина сложила листок, сунула его в конверт, поцеловала тоненький пальчик, провела им по клею и позвонила два раза. Вошла горничная, желтая, худая, с рысьими глазами и пристально смотрела на барыню.

– Вы отнесете письмо Лидии Петровне Варгиной, ответа не надо.

Александра Михайловна протянула письмо, но между ею и горничной стоял муж.

– Я сам занесу, сейчас гуляя. Ступайте, Катя.

Горничная попятилась, еще раз взглянула на барыню и ушла.

– Сам? Мерси!.. Это еще скорей... Сейчас пойдешь? Да?

– Сейчас!

Александра Михайловна громко рассмеялась.

– Так зачем же письмо, если ты сам пойдешь? Вот было бы смешно, – придешь и не скажешь, что не поехал, а заставишь ее это же прочесть, – и молодая женщина потянулась за письмом.

Валищев побледнел, затем кровь стукнула в виски. Он миглом разорвал конверт и стал читать. Александра Михайловна тихо ахнула и опустилась на стул.

«Мы только что расстались, и я уже пишу тебе, ты не увидишь меня сегодня в час, потому что А. П. остается дома и три дня дома! Пойми, три дня каторги! Постарайся встретить нас у

¹⁴ В поисках новизны (*фр.*).

озера, дай хоть взглянуть на тебя, но держи Джильду на цепи, чтобы она еще раз не кинулась мне при нем на шею. Твоя Аля».

Муж глядел на жену, та сидела бледная, закрыв лицо руками. Ни лгать, ни увертываться было нельзя, все было слишком грубо, ясно. Но вот она подняла глаза и снова открыла перед ним невозмутимо-ясное небо своих синих очей. Андрей Павлович схватил ее за руку, этот взгляд страдающего ангела в эту минуту доводил его до жестокости, до бешенства, до безумия.

Ведь это не глаза, это машинки! Это механизм! Их надо вырвать, послать на аналитическую станцию, пусть расследуют, от чего зависит эта прозрачность, эта глубина. Ведь ты кукла! Пустая, глупая кукла! Ведь в тебе не кровь, не мозг, а труха, грязь! И он тряс ее за плечи с диким хохотом, глядя в лазурь ее чудных глаз.

– Закрой! Закрой глаза! – крикнул он, и она машинально закрыла глаза

Перед ним было бледное, бессмысленное лицо с открытым ртом, покрасневшим от накупавших слез носом, с широкими, банальными скулами, лицо ничтожной, глупой женщины, где в каждой черте дрожал вульгарный страх собаки, ожидающей побоев...

Валищев оттолкнул ее так сильно, что она упала.

– Фонари, фонари с цветными стеклами, которые я принимал за небо! – хохотал он, убегая в свою комнату.

* * *

Они расстались. Прошло два года. Валищев ничего не знал о жене, кроме того, что она аккуратно расписывалась в получении присылаемых им денег. Он путешествовал, жил в деревне и, наконец, вернулся обратно, один, в свою новую, холостую квартиру. Ему казалось, что он был болен, вынес тяжелую операцию, выздоровел и снова вступает в жизнь.

Женщина была вычеркнута из его жизни, и он думал, что навсегда освободился от ее коварной, нечистой власти. Он презирал ее, ненавидел под всеми именами, которые только давал ей человек. Он считал себя сильным, застрахованным от всякого соблазна любви.

Снова было лето, и вечером, вернувшись к себе, он открыл окно, вытащил стул на крошечный балкон, висевший как ласточкино гнездо над сонным городом. Сел – и тишина июньской ночи охватила его.

Луна только что всходила, диск ее блестел на небе как золотой серп, забытый таинственным жнецом на бесконечном поле. Легкие облачка, принимая очертания волшебных кораблей, неслись в даль, распустив свои паруса, бледные звезды то тут, то там появлялись из-под них и пропадали снова.

На земле, там, в соседнем саду, лунный свет, забравшись в густые ветви деревьев, то лился с них потоками странного белого света, то висел, зацепившись за ветви, как воздушный вуаль невесты. Воздух, казалось, был полон ароматным дыханием незримых существ. На балконе, в комнатах, все вещи теряли свой определенный вид. Контур, погруженные в темноту, стусевывались. Картины, охваченные мягким светом, выходили из рам; пол, казалось, колебался. Впечатление сна, волшебной сказки закрадывалось в душу Валищева, он терял понятие о месте и времени. Тишина, окружавшая его, проникала в его грудь, ему казалось, что сердце его тает и наполняется новой, сладкой тревогой. Заглушенные мысли и образы, восстановив перед ним призраки земного счастья любви и ласки, манили его.

Луна всходила, он видел ее теперь выплывающую из легких, прозрачных облаков, круглую, нежную, розоватую, как женское плечо, сбрасывающее с себя последний покров. Жажда женщины охватила его, он повернул голову в комнату, – и там, выступая из темноты, вся облитая серебряным трепетным светом стояла статуя Психеи с протянутыми руками, откинутой головой и как бы пила полуоткрытыми губами лившееся на нее волшебное сияние луны.

Валищев глубоко вздохнул. Прошлое теряло над ним власть и уходило куда-то далеко. Последняя горечь пережитого унижения, тоски растаяла в его груди, он вдруг почувствовал потребность забыть и снова примириться с жизнью. Мысли его потеряли острое, злобное направление, стали проще, яснее и мягче. Луч луны скользнул теперь ему на грудь и точно шепнул о возможности новой любви и нового счастья. Сердце радостно забилося, оживая как феникс из своего пепла; жизнь снова манила его к себе; природа, вечно юная, вечно воскресающая из смерти и разрушения, звала его примкнуть к великой, вечной гармонии жизни, выражающейся в любви и воплощающейся в женщине.

1896

Звезды

Михаил Сергеевич Маршев, в чичунчевой паре¹⁵, с расстегнутым воротом шелковой рубашки, стоял на большой террасе барского деревенского дома, ушедшего своими боковыми флигелями в громадный сад. На балюстраду террасы, на ее тонкие колонки со всех сторон напирала и лезла ползучая зелень, сочные, ярко-зеленые листья хмеля, как в пьяном задоре, бежали на самую крышу. Темно-красные и ярко-желтые колокольчики настурции, просунув головки, старались заполнить собою все щели и прорези листвы, лиловые сережки фуксии всюду висели целыми гроздьями. С ближайших куртин, как из громадных курильниц, белые и красные розы лили свой тяжелый слащавый аромат.

Сад утопал в вечерних сумерках, деревья теряли свои силуэты, смешиваясь в одну компактно-волнистую тень. Где-то шумел ручей. Наступал тот неопределенный, волшебный час, когда ночь крадется за угасающим днем, накидывая на него свой таинственный покров. Изредка пробегающий ветерок шелестел травой, подымал кругом нежный, таинственный шепот и снова замолкал, припав за деревьями. На темном густо-синем небе появлялись золотые звезды, где-то проснувшаяся пичуга мелодично кликнула своего запоздавшего друга и – все смолкло.

Михаил Сергеевич стоял, глядел в глубь дремавшего сада, дышал широко всею грудью, и ему казалось, что жизнь остановилась, задержалась, как в сказочной грезе, что он переживает минуты высшей гармонии человека с природой, когда наслаждение граничит с какою-то нервной, ноющею болью, и все это оттого, что сегодня...

Маршев приехал в деревню по горячей просьбе товарища по университету, Николая Николаевича Колчина. В сущности, они никогда не были ни друзьями, ни даже товарищами в точном смысле слова, но кончили курс вместе на одном факультете, расцеловались за прощальным обедом и, месяц тому назад, встретившись случайно в ближайшем городке, заговорили, разговорились, и Колчин затащил к себе в деревню Маршева.

Семья Колчина состояла из трех человек: самого Николая Николаевича, здорового парня, с красным большим ртом, белыми, крепкими зубами, с короткой щетиной густых черных волос и с веселыми, узкими карими глазами, его жены Евгении Федоровны и сестры его Ньюши, девушки 15 лет, умиравшей от чахотки.

Колчин любил жену, но обожал, боготворил свою Ньюшу, он глядел ей в глаза, подстерегая всякое мимолетное желание или страдание. В жаркие дни, когда в полях звенела коса и стрекотали встревоженные кузнечики, он относил ее или на душистые волны только что скошенного сена, или в лес на зеленый бархатный мох, под черную тень громадных дубов, и туда же тащил и жену и товарища; а как только небо начинало пить зной засыпавшей земли, и предвестником тумана на полях вился серый дымок, укутав девочку мягким пледом, он бережно, любовно переносил ее в большую библиотеку, куда обыкновенно по вечерам собиралась вся семья, и там окружал ее книгами, гравюрами, тщательно задрапировывая кружевным абажуром свет высокой лампы, стоявшей в изголовье ее кушетки. Когда девочка начинала дремать, он сам относил ее в спальню и сдавал на руки Дуняше, пожилой, верной прислуге, давно жившей в доме.

Колчин с 5 лет рос без отца и так же обожал свою мать, которая несколько лет тому назад, таким же жарким летом, умерла в чахотке, на руках сына, приехавшего на каникулы. Ньюша, его единственная сестра, здоровая, веселая, с 13 лет стала хиреть, чахнуть и это лето, по словам доктора, должна была уйти за матерью.

¹⁵ Летний костюм желтовато-песочного цвета из дикого шелка.

Колчин женился два года тому назад, еще в Петербурге, когда Ньюша была здорова и училась в институте. Получив большое наследство от умершего дяди, он уехал с женой в деревню, а через год взял к себе и Ньюшу, встревоженный письмом от институтского доктора, извещавшего его о состоянии сестры.

Михаил Сергеевич Маршев приехал вовремя, он должен был развлекать Евгению Федоровну. Честный, спокойный, прямой характер Николая Николаевича исключал всякую возможность о подозрении, и Евгения Федоровна могла свободно гулять, играть на бильярде, кататься верхом с молодым человеком.

Когда Маршев увидел первый раз Евгению Федоровну, она даже не понравилась ему, он нашел ее слишком «статуйно» красивой. Высокая, изящно, но крепко сложенная, лицо смугло-матовое, густые, прямые волосы, черные, с красноватым отливом на солнце, глаза темные, без блеска, бархатные, мягкие, не отражавшие ни одной мысли, но только по временам загоравшиеся страстью, негой и лаской. Михаил Сергеевич поселился у своего товарища без малейшей идеи нарушить его покой. По природе враг всяких сомнительных побед, считая подлостью во зло употребить так радушно предложенное ему гостеприимство, он сразу решил поставить себя в границы приятного, веселого, отнюдь не назойливого гостя, но, чем более он избегал Евгению Федоровну, тем чаще он встречал ее на своем пути. Неглупый от природы, он, почуяв опасность, понял, что добродетель состоит скорее в том, чтобы не дать возникнуть искушению, нежели в том, чтобы устоять перед ним, и решил бежать; но он имел неосторожность громко высказать за столом свое намерение уехать. Лицо Евгении Федоровны потемнело, она опустила густые ресницы и из-под них тяжелым, черным взглядом следила за мужем; глаза ее снова открылись и потемнели только тогда, когда она убедилась, что причина этого решения лежит не в нем. Николай Николаевич горячо и искренно уговаривал друга остаться.

– Подожди, Михаил Сергеевич, хоть недели две, дай отойти «страде», а то жена со скуки совсем мне врагом сделается, она и так сердита на меня, что я ее запер в деревне. Да и притом... – Колчин встал из-за стола, тщательно вытер салфеткой усы, затем вынул надушенный платок, еще раз провел им по губам и поцеловал руку жены.

– Пойдем-ка в сад, выкурим сигару, – сказал он, беря под руку Маршева. – И притом, – продолжал он, когда они были совершенно одни, – Ньюша угасает с каждым днем, как это ни печально, но развязка приближается. Умоляю тебя, поживи с нами, развяжи мне руки, чтобы я мог отдавать сестренке всякую свободную минуту.

Маршев остался. Когда, потушив сигару, он медленно брел в комнаты, из-за большого сиреневого куста навстречу ему вышла Евгения Федоровна и на ходу, не подымая на него глаз, не понижая тона, просто и как бы в пространство проговорила:

– После обеда, в шесть часов, будьте на террасе! – и прошла дальше.

Маршев был ошеломлен и едва дошел до крыльца, как его охватила злость.

– Что это? Банальная интрига? Месяц знакомы – и роман! Да чем он, Маршев, лучше, красивее Николая? Своей белокурой гривой, да глазами саксонской лазури? Так это, значит, ради контраста, что ли? Или надо возбудить ревность Николая? Оживить его чувство, заглушенное заботами о сестре и хозяйством? Дурит барыня, и сегодня же, в шесть часов, он ей это выскажет самым грубым, бесцеремонным образом.

От двух часов дня до шести вечера голова его работала, он составлял фразы, которые скажет «она», и те, которые он даст ей в ответ.

Уже в шесть часов, стоя на террасе, слыша легкий свист ее шелковых юбок, он в сотый раз говорил себе: «она скажет...» Она пришла и – ничего не сказала; одним, почти грубым движением она взяла в обе руки его голову, повернула к себе, обожгла его широким, властным взглядом, горячо, страстно, долго поцеловала его в самые губы и прошла дальше.

Ошеломленный, пьяный от страстного волнения, весь дрожа, Маршев стоял, ухватившись рукою за перила, безжалостно зажав под ладонями целую семью бледно-розовых барвинок.

День таял в объятиях ночи. Из заглохшего сада на Маршева бежали густые сумерки, сердце его страшно билось, в ушах шумела молодая кровь, он ничего не понимал, не видел, не слышал, как «ее» громкий, веселый голос несся к нему с верхнего балкона.

– Михаил Сер-ге-е-вич, пора пить ча-ай... чай!..

Третий призыв долетел до него. Он рванулся и прошел, но не в столовую, а в свою угловую комнату, чтоб выпить стакан воды и прийти хоть немного в себя.

К чаю он вышел с твердым намерением объясниться. Объясниться ему не пришлось ни сегодня, ни завтра, ни целую неделю.

Евгения Федоровна избегала его без аффектации, казалось, просто в силу независящих от нее обстоятельств, он совсем не мог говорить с нею наедине, он видел только печальный, мягкий блеск ее бархатных глаз, улавливал новую, точно надорванную ноту в ее звучном голосе, в поникнувшей головке, в усталой позе читал борьбу и страстную тоску прелестной женщины, он как бы под влиянием гипноза терял силы. Убеждения путались, кровь начинала говорить громче рассудка, страсть подавляла убеждения, он мучился, не зная, чего желать, как поступать, и, инстинктивно, искал покоя у Нюши. Девочка, видимо, уходила из этой жизни, голос ее был слаб и только по временам звенел так странно, точно ее узенькая, нежная грудь была пустая скрипичная дека. Темно-серые глаза девочки стали громадными и то светились усталою тихою грустью, то странно, лихорадочно, блестели, жадно приглядываясь к жизни и ее неразгаданным тайнам. Любимым занятием Нюши был тот мир, в который она, по ее словам, уходила, мир неба, его звезд и созвездий.

Лежа на кушетке, Нюша по целым часам глядела на громадную сферическую карту, разостланную перед ней на низеньком, японском столике. На синеве южного и северного полушария виднелись золотые точки, крупные, мелкие, группами и в одиночку. Нюша тоненьким пальчиком водила по ним, темные, узенькие бровки ее были сдвинуты, бледный ротик крепко сжат, и только глаза широко, пристально следили за пальчиком, отмечавшим путь.

Как богатые барыни, в капризном нетерпении ехать за границу, изучают по карте все станции модных городов и курортов, так Нюша искала ей одной понятный путь, по которому должна лететь ее душа на звезду, назначенную для ее будущей жизни. Ни у кого не хватало духу разочаровывать или разубеждать ребенка. И скептики, и верующие, все смолкали перед этой детской душой, наивно, но смело искавшей разрешения страшной мировой тайны.

Страсть, искусно заброшенная в сердце Маршева, разъедала его организм, как капля медленного яда. Воля его была расшатана, он становился не ответственным за свои поступки, слова «подлость», «измена» потеряли свой страшный смысл, он не жил и только ждал; наконец, однажды, придя в свою комнату, он нашел на столе записку, запечатанную, но без всякой попытки обмана или страха. «Сегодня, в два часа ночи, в библиотеке жду».

Маршев прочел, разорвал записку и бледными, дрожащими губами прошептал: «Наконец-то, наконец!» И тут же вспыхнул, вспомнив, что Колчин говорил за обедом, что вызван по делу в город и уедет с ночи.

Сумерки потонули там, за дальними холмами. Из-за зубчатых верхушек леса показался тонкий серп месяца, земля, засыпая, еще дышала дневным зноем и мало-помалу вся жизнь, от человека до мельчайшей пичужки, засунувшей голову под крыло, утихала и погружалась в покой, небо развернуло свою красоту и без малейшего облака темным, прозрачно-синим пологом стояло над землей, сияя своим недоступным золотым миром. Часы показывали без десяти минут два. Михаил Сергеевич, машинально проведя языком по запекшимся губам, стараясь проглотить сухой спазм, резавший ему горло, вышел из комнаты, холодной, дрожащей рукой закрыл за собой дверь и, едва дыша, мягко ступая войлочными туфлями, как вор, как убийца,

пробирался в библиотеку, лоб его покрылся мелкой росой холодного пота. С минуты страстного поцелуя и до сегодняшней записки он не прикасался к Евгении Федоровне, она умудрилась так, что рука ее, даже для формы простого пожатия, секунды не оставалась в его руке, и страсть зрела, росла в нем и теперь захватила его всецело.

Дойдя до библиотеки, он остановился, едва переводя дух, рука его уже легла на ручку двери, как вдруг в конце длинного коридора скрипнула дверь, отворилась, оттуда вырвалась трепетная, красноватая полоса света и легла на полу, не дотянувшись до замершего на месте Маршева. Он увидел темную фигуру женщины, за которою дверь снова быстро затворилась. Инстинкт подсказал ему, что это Евгения Федоровна, но почему она уходит от библиотеки, почему так стремительно исчезла в своей комнате – он не мог понять и, нажав ручку двери, вошел в библиотеку и, как прикованный, остановился на пороге. Против него на кушетке, облокотившись правым локтем на свою «небесную» карту, полулежала Нюша, высокая лампа под громадным бледно-зеленым абажуром лила на нее лунный свет. Бюст девочки нагнулся вперед, тонкая головка ее вытянулась, и громадные, испуганные глаза, полные страдания и как бы мольбы, остановились на нем.

– Войдите, – услышал он дрожащий тихий голос Нюши, – пожалуйста, войдите, Михаил Сергеевич.

Маршев машинально запер двери и подошел к кушетке.

– Пожалуйста, сядьте здесь...

Он сел.

– В моей комнате так душно... брат... уехал... а мне нехорошо, я и попросила Дуню перенести меня сюда, я ведь часто так ночью кочую... – Девочка попробовала улыбнуться, но по бледным губкам прошла только дрожь.

Маршев все также тупо молчал, Нюша протянула руку и своими горячими, трепетными пальчиками дотронулась до его совершенно холодной руки. Прикосновение это разбудило Маршева, он вдруг взглянул на Нюшу, и в голове его родилась мысль, что все это – комедия, что девчонка здесь для того, чтоб помешать им. Евгения Федоровна ушла, может быть, униженная, оскорбленная этим идолом ее мужа. Злость поднималась в нем, он грубо высвободил свою руку.

– В чем же дело? Что же от меня-то вам надо? Я пришел сюда за книгой!

Он хотел встать.

Трепетные пальчики девочки сильно ухватились за его руку.

– Она была здесь... и больше не придет... ведь я все знаю...

Маршев снова вырвал свою руку.

– Тем хуже для вас... зачем подслушивать, подглядывать, это не делает чести и здоровой девушке, не только что больной, которая едва ходит, едва... – он хотел сказать: дышит, но, случайно встретившись с глазами Нюши, запнулся. Эти детски чистые, необыкновенно ясные глаза глядели на него с таким страхом и с такой робкой мольбой, застенчивая улыбка, готовая перейти в рыдание, трепетала на полуоткрытом ротике, густые выющиеся волосы, совсем пепельные, воздушные, падали прядями кругом обострившегося, страшно исхудалого личика.

– Что вам за дело? Что вам за дело? – бормотал он, – Ничего вы не знаете.

– Я знаю, – тихо зазвенел голосок Нюши. – Женя скучает, злится, ненавидит меня, как будто я виновата, что невольно отнимаю от нее брата и вношу тоску в его дом, но, уверяю вас, уверяю, она потом горько, горько пожалеет... она любит брата, любит... я часто слышала слова, которые она шептала ему, видела ее глаза, ее губы, когда она смотрит на него...

– Вы слишком много видели! – с насмешкой сквозь губы произнес Маршев.

– Да, правда, но я не виновата в этом. Болезнь сделала меня тихой... пока я еще ходила, я любила уголки, глубокие кресла, где никто не пугал меня, не говорил со мной.

– И вы подглядывали, подслушивали?

Глаза Ньюши крупно заморгали, закрылись на секунду, но она не заплакала.

– Да, я много видела, много слышала. Вот это окно... подойдите к занавесу, взгляните сквозь пестрый рисунок, она прозрачная, и днем с этой стороны поневоле, без желания, все видно, а ведь я всегда лежу здесь.

Она откинула голову на подушки и замолчала.

Маршев подошел к окну, пестрая ткань, на вид показавшаяся плотной, была тонкая индейская кисея, сквозь узор которой он сперва, как в раме из прихотливых узоров листвы, увидел клочок звездного неба, потом рассмотрел перила, усеянные нежными глазками барвинок, потом шахматный столик, стул... он вспыхнул: сцена первого страстного поцелуя, как яркая картина, возникла перед ним – и Ньюша видела... видела и ничего не сказала брату.

Он обернулся к девочке... снова раздражение, злость охватили его. Он стал подозревать преждевременную развращенность в этой больной, молчаливой девочке.

– Видели все и молчали, это делает честь высшей сообразительности. Если бы и теперь вы поступили также, ваша... любознательность была бы еще более вознаграждена.

Тихие рыдания были ему ответом. Ошеломленный, он подошел к Ньюше. Она лежала ничком в подушке, он видел только спутанную массу пепельных волос и очертание тоненького тела, уже принявшего женственную грацию, и от всей этой позы, от худеньких, тоненьких ножек, так по-детски, безыскусственно лежавших перед ним в простых беленьких чулочках и широких, стареньких туфлях, от тоскливых всхлипываний веяло такую чистотой, таким святым детством, что сердце его замерло, он вдруг почувствовал, что делает что-то безобразно скверное, жестокое, недостойное мужчины, его сухие, злые глаза увлажнились, он сел и провел рукою по спине ребенка.

– Ньюша, Ньюша, не плачьте, простите. Я груб, мне тяжело, совестно того, что я сказал.

Рыдания прервались, минуту девочка лежала неподвижно, как бы притаив дыхание, боясь ослышаться, затем она поднялась, села, откинула от лица волосы и подняла на него глаза. Густые ресницы слиплись стрелками, последние слезы еще не высохли и катились светлыми росинками по нежным, исхудалым щекам, но взгляд уже был полон теплой благодарностью и тихой, наивной радостью. Странное, почти благоговейное чувство охватило Маршева, инстинкт подсказывал ему, что он присутствует при величайшей тайне жизни. Как в сказке об Аладдиновой пещере, полной сокровищ, перед ним раскрывалось сердце, полное девственной чистоты, и легенда об ангеле-хранителе, скорбящем и плачущем о наших грехах, воплощалась, а из громадных, ввалившихся глаз больного ребенка на него глядела сама смерть и говорила о чем-то высшем, недостижимо великом.

– Вы не сердитесь, вы не... не...

– Ньюша, я не сержусь и не увижусь больше никогда наедине с Евгенией Федоровной.

– Хорошо, благодарю вас, верю. Ах, как я счастлива! Вот видите, – она потянулась к Маршеву, он сел ближе и взял в свои холодные руки лихорадочно дрожавшие ручки девочки. – Видите, я очень, очень люблю брата, он страшно добрый и ужасно понимаете, ужасно любит Женю, и она его любит, верьте, любит. – Ньюша нагнула головку и глядела в глаза Маршева, точно желая перелить в него свою уверенность. – Надо только ей пережить «это» время, я ведь скоро, скоро, уйду! – тише добавила она, опуская глаза, – и тогда брат опять вернется к ней, он ведь очень будет нуждаться в ее ласке. Вы не думайте, что я сказала что-нибудь «такое» Жене, – заволновалась Ньюша, – нет, я только после... террасы начала все видеть и понимать. Сегодня я видела, как она писала, в доме кому же ей писать?.. Значит, вам... Потом она так спешила, чтобы меня унесли отсюда... Я поняла, что это будет здесь... брат уехал, и вот мне стало так дурно, так душно, сердце так ныло, ныло, я непременно должна была быть здесь, непременно, иначе я умерла бы. Дуня перенесла меня сюда, я все лежала и молилась Богу, все молилась, чтоб вы не сделали злого, нехорошего дела... и Бог услышал меня. Женя вышла, увидела меня и ахнула: «Зачем ты здесь? Зачем?» – она очень рассердилась, а я так тихо,

незаметно перекрестилась и говорю: «Женя, ступай к себе, я ничего не скажу брату». – Она поглядела на меня, поглядела и выбежала вон.

Маршев нагнулся и тихонько, еле прикасаясь губами, поцеловал кончики ее пальцев.

– Подумайте! – шептала Нюша, нагнувшись к нему, – я уйду «туда», все, что я думаю тайно, станет «там» явно, и Бог прочтет у меня в сердце, что я считаю вас злыми и нехорошими людьми. Как страшно!

Минуту они промолчали.

– Нюша, не говорите так много, не волнуйтесь, попробуйте заснуть. Хотите, я позову Дуню?

– Нет, не надо Дуню, я всегда здесь одна, если нужно я позвоню, она рядом, а спать я попробую.

Девочка замолчала, закрыла глаза, продолжая нежно держать его за руки. Михаил Сергеевич понял, что она боится отпустить его и боится показать ему свое недоверие.

Глазки трепетали, сон не приходил к нервно-возбужденному ребенку.

– Нюша, не заставляйте себя спать, я тоже не засну. Хотите, я прочитаю вам или поговорим. Где ваша «небесная» карта?

Нюша открыла глаза и проговорила:

– Карта? Ах, если бы Коля был здесь, знаете, что бы он сделал?

– Скажите что? Может, и я могу сделать то же самое для вас.

– Вы... о, да! только я не смею просить вас.

– Напрасно, Нюша, теперь можете.

– Могу? – девочка тихо, счастливо рассмеялась.

– Да, можете вполне.

– Так вот, заверните меня в плед и вынесите на террасу, сегодня теплая, душная ночь и небо полное звезд, мне так хочется, так хочется посмотреть еще раз отсюда с земли туда, куда я уйду.

Маршев взял лежавший в ногах у Нюши теплый пушистый плед, разостлал его на ближайшем диване, затем бережно, прикасаясь как к святыне, он поднял больную девочку, положил ее на плед, оставив только место для личика, где среди спутанных, светлых локонов виднелись большие, блестящие счастьем глаза. Он поднял чересчур легкую ношу, открыл одною рукою дверь на террасу и стал с Нюшей у перил, на том самом месте, где неделю назад так безумно глядел в набегавшую ночь, сжимая под ладонями бледно-розовые головки барвинка. Только теперь чары страсти были порваны, он снова был сильный, здоровый человек, честный, надежный товарищ, враг темных и пошлых интриг. Они стояли в рамке ажурной листвы хмеля, и оба глядели в синий полог бесконечного неба, где трепетали и горели мириады звезд.

– Как хорошо, как хорошо! – шептала Нюша, волнуясь от красоты и величия ночи. – Вы знаете звезды, знаете? Называйте их мне, говорите. Пойдите, вот эти и я знаю, – девочка указывала головой и глазами. – Вот Марс, Венера, вот Большая Медведица, вот Малая, а дальше, дальше? Назовите мне все, которые знаете.

Маршев указал влево.

– Вот видите эту белесоватую дымку, усеянную звездами? Это Млечный Путь.

– Да, да, Млечный Путь, – восторженно повторила Нюша.

– А вот Кассиопея рисует свою дельту, вот пятиугольник созвездия Эриктон, а пониже, вот там, на юго-западе, как громадный бриллиант блестит Единорог. А вот красавица Капелла между Близнецами, Кастором и Поллуксом и ярким Орионом. Вот Большой Лев, Пегас, Геркулес.

– Как хорошо! Боже мой, как хорошо! – трепетала девочка.

– А вот Вега, наша северная красавица Вега, она дрожит синеватым огоньком. Вот целый рой мелких звезд, а выше по зениту пурпуровый огонь, это глаз Золотого тельца Альдебаран.

– Вот тот, что трепещет, играет на фоне мелких, мелких звезд, это глаз Золотого тельца? Ах, как хорошо.

– Вот звезды Трех Волхвов, они светятся в самом центре Орионова пояса. Глядите, вот Северная корона, а это Лира лежит среди целого золотого потока мелких созвездий. Вот Дева, а это мелкая серебристая паутина, это Волоса Вероники.

Маршев показывал не все верно и, может быть, путал звезды, но мистические имена, а главное, его тихий взволнованный голос, наполняли энтузиазмом грудь больного ребенка. Она вытягивалась на его руках, стремилась вся вверх, точно незримые силы влекли ее туда, в загадочную высь. Она «видела» все эти звезды, они казались ей живыми, близкими и трепетная грудка, сердечко, бившееся около молодого человека, сообщали ему неизъяснимое чувство соприкосновения с беспредельным.

– Нюша, Нюша... – Маршев указал рукой на юго-запад горизонта, там у самого края Млечного Пути трепетал лучший бриллиант всего небосклона – Сириус. – Нюша, знаешь ли ты, дитя, что Сириус так далеко, что надо 14 лет, чтобы до нас дошел только один его трепетный сапфировый луч.

Нюша вдруг закрыла глаза и прижалась личиком к щеке Маршева.

– Ты веришь, что я не умру, а только уйду туда... Засну здесь, у вас, а проснусь там? Веришь?

– Верю. Весь этот небосклон, усеянный звездами, так страшно далек от нас и в то же время так близок, что мы можем видеть его своими глазами, и я чувствую, что ничто не чуждо нам, что того света в страшном, окончательном смысле нет, все соприкасается, все сливается вместе. Смерть – это тяжелая разлука, потому что она самая длинная и долгая; но я безусловно верю, что мы увидимся с тобою, если даже ты и уйдешь теперь от нас.

Оба замолчали. В саду стояла мягкая теплота. Свет лежал на деревьях как зимний снег, звезды плавали в бездонной синеве неба. Их окружала атмосфера сна и мечтаний.

Нюша и Маршев оба вздрогнули, но на дворе раздался лай разбуженных собак, закрипели ворота, по деревянному настилу подворотни послышался топот лошадиных копыт и громкий голос Колчина.

– Брат! – радостно сказала Нюша.

– Николай Николаевич! – с ужасом прошептал Маршев, прижимая к себе Нюшу и унося ее обратно в библиотеку.

Не успел Маршев раскутать девочку и положить ее на кушетку, как Колчин уж стоял в библиотеке.

– Маршев! – он протянул руку и сердечно, крепко пожал ее, – ты здесь, с Нюшей, укутываешь ее, возишься.

– Он выносил меня на террасу, показывал небо, он все знает, все звезды, и он давно здесь пришел за книгой и вот...

Девочка лепетала, взволнованно, счастливо, глядя на обоих блестящими глазами, соединяя их в одну симпатию.

– Ну, брат, не знал я, что ты такой товарищ, не забуду! – и Колчин еще раз искренно пожал его руку. – А я вернулся, у самого города встретил посланного; дело, по которому я поехал, отложено. Ну, Михаил Сергеевич, ступай спать, я отнесу Нюшу к себе и пойду обрадовать Женю. Держу пари, что она не спит и уже слышала, как я приехал. Будешь спать теперь, девочка?

– Буду, наверно буду, мне так хорошо!

Колчин уносил на руках Нюшу, а та, закинув головку через его плечо, светло и ласково улыбалась Маршеву.

На другой день Нюша не выходила из своей комнаты. Пережитое волнение, страх, обида и радость унесли ее последние силы. Маршев весь день был около нее.

Прошел еще день, и когда солнце садилось и последними красными лучами горело на стеклах Нюшиной комнаты, девочка потянулась к нему, тихо ахнула, упала на подушки и, подхваченная братом, умерла на его руках.

Когда труп девочки, весь убранный душистыми белыми цветами, лежал в гробу, Маршев, собравшийся уже уезжать, пришел с нею проститься. Когда он очнулся и поцеловал ее холодные ручки, из груди его вырвалось рыдание, он вспомнил волшебную ночь на террасе, небо, полное звезд, и теплое трепетное тельце, прижимавшееся к его груди. В этом холодном трупе он не находил Нюши; ему казалось, что перед ним одна пустая оболочка, между его здоровым телом, полным жизни, и этим маленьким трупом материальная связь теплоты и магнетизма была нарушена, это что-то, лежавшее в гробу, было ему чуждо; зато душа его стремилась туда, к нему, и с трепетом восторга и страха он ощущал, понимал свою связь с тем далеким, неизвестным миром, где теперь была Нюша.

1896

Иероним Ясинский (1850–1931)

Васса Макаровна

На балконе был приготовлен стол для вечернего чая. Хозяйка дома, Васса Макаровна Барвинская, бросила на стол последний критический взгляд и нашла, что все в порядке. Самовар, в котором ярко отражалась сбоку зелень сада, а сверху – ясная лазурь неба, блестел как золотой. Масло желтело в хрустальной масленке. Стекло стаканов, серебро ложек, а также белизна голландской скатерти были безукоризненны. Васса Макаровна подумала, что хорошо было бы в сухарницу, вместо домашнего белого хлеба, уже несколько черствого, положить кренделей и вообще каких-нибудь вкусных печений, но сообразила, что гости, конечно, извинят, потому что где же достать всего этого, живя в семи верстах от города, и притом на хуторе. С этой мыслью она медленно сошла по ступенькам балкона в сад, чтобы разыскать гостей – брата с его женой и молоденькою свояченицей, соседа-помещика, да одного офицера.

Сад был небольшой, но старый и довольно глухой. Обрамляли его с четырех сторон тополи; яблони и груши стояли вперемежку с кустами смородины и крыжовника; вишни и сливы в одном углу (там находилась беседка), а малина росла в другом. Цветов было мало: две клумбы настурций и резеды, с георгинами посередине, да душистый горошек у стен и у трельяжа на балконе.

Для Вассы Макаровны прогулка даже по этому небольшому саду представляла некоторый труд. Эта дама, несмотря на свои тридцать лет, могла быть названа особой почти тучной. Теперь, идя по аллее, она слегка переваливалась с ноги на ногу и смотрела по сторонам с улыбкой. Улыбка назначалась ею преимущественно для соседа-помещика и для офицера. От себя она этого не скрывала. Ей нравились и тот, и другой. Помещик был солиднее и умнее, офицер моложе. Кроме того, у офицера были очень выразительные, красные и пухлые губы. Если бы кто-нибудь из них неожиданно встретил ее здесь, то увидел бы, что лицо у нее приятное. Ей хотелось вообще производить впечатление своею внешностью, и она кокетничала даже своей полнотой: в походке ее было столько томности и грации, что это еще более замедляло ее движения. Затем она кокетничала деревенской натуральностью и отдавала справедливость покойному мужу, который называл ее: «дитя природы». Вот и теперь она вдруг вспомнила это и, остановившись и приложив руку к груди, решила, без церемонии, прибегнуть к своему звонкому голосу и позвать гостей. Сделала она это, действительно, непринужденно, так что и самой ей понравилась эта непринужденность, и она засмеялась, что опять вышло хорошо. «В самом деле, я очень естественная», – подумала она с удовольствием.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.